



Огни маяка

БИБЛИОТЕКА СОЛДАТА И МАТРОСА

О Г Н И М А Я К А

РАССКАЗЫ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР

Москва—1948

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<i>А. Баковиков. Огни маяка</i>	3
<i>Игорь Любимов. Старая бескозырка</i>	10
<i>Кирилл Левин. Свой корабль</i>	20
<i>Николай Ропчин. Однофамилец</i>	27
<i>А. Яковлев. Старшина Крюков</i>	37
<i>Кирилл Левин. Вешка</i>	44
<i>Кирилл Левин. На грунте</i>	49
<i>Ник. Жданов. Дороги друзей</i>	55

*Обложка, заставка, концовка
художника В. ВЫСОЦКОГО*

Редактор *Воронова Р. М.*
Технический редактор *Слепцова Е. Н.*
Корректор *Субботин Г. П.*

Г78909. Подписано к печати 22.11.48. Изд. № 1/2659.
Объем 1 $\frac{1}{2}$ п. л. 2,87 уч.-изд. л. В 1 п. л. 13 000 тип. авт. Зак. 606.

1-я типография Управления Военного Издательства МВО СССР
имени С. К. Тимошенко



А. БАКОВИКОВ

ОГНИ МАЯКА

Душой кают-компания тральщика «Гарпун», на котором командир подразделения капитан-лейтенант Мещеряков держал свой флаг, был сам Мещеряков. Бог траления, как его называли молодые офицеры, любил «Гарпун» не потому, что этот корабль принадлежал к числу новейших, — нет, «Гарпун» был кораблем-ветераном трального флота. На нем Иван Иванович Мещеряков начал траление еще в первые дни войны. И с тех пор не покидал его мостика.

Много замечательных событий произошло с того времени. И Иван Иванович, по натуре своей мечтатель и философ, знавший почти наизусть лоцию Балтийского моря, мог по каждой вмятине на «Гарпуне», по каждой заплате на старом корпусе рассказать о боевых делах подразделения.

«Мы с «Гарпуном» не стареем», — любил повторять Мещеряков, поглаживая седящую голову. В его словах не было

хвастовства. Потеряв еще в первый год войны семью, Мещеряков всю свою любовь, на которую способны большие и сильные люди, перенес на людей корабля. Экипаж заменил ему семью, корабль — дом.

За два года до окончания войны, став командиром подразделения, Мещеряков передал «Гарпун» старшему лейтенанту Сидорову, но сам с корабля не ушел и брейд-вымпел поднял здесь же, на «Гарпуне». Потом Сидорова сменил лейтенант Приходько — почти юноша. Увлекающийся молодой человек, он больше всего гордился тем, что плавает под командованием Мещерякова.

В тот день, о котором пойдет речь, корабли, закончив травление Н-ского района, задержались в море, дожидаясь горячего, — его должен был доставить буксир. После обеда Мещеряков и Приходько сидели в кают-компании и, выкурив бесчисленное количество папирос, ждали доклада от вахтенного сигнальщика. Но все сроки прошли, а буксир с баржей не показывался. Лейтенант Приходько, чтобы как-нибудь скрасить наступившее молчание, обратился к командиру подразделения:

— Иван Иванович, давно хотел вас спросить...

— Да?

— Смотрю я на нее, — он указал на картину, висевшую на стене, — и думаю, надо бы нам привести ее в порядок. Хорошая картина. «Гарпун» на ней выглядит как живой, и вот этот орудийный расчет, который ведет огонь по немецкому самолету... Но правый угол полотна разорван. Непорядок. И я уже было приказал матрогу Строгову аккуратно зашить полотно и восстановить краски, но он меня уверил, что вы не хотите.

— Я умышленно сохраняю ее в таком виде, как она есть, — ответил Мещеряков. — Это, Валентин Алексеевич, память о высадке десанта, о первой нашей крупной наступательной операции. Тогда осколком снаряда ранило командира десантного отряда Арсеньева, который шел на «Гарпуне». Осколок пробил обшивку и разорвал полотно. И вот здесь, на этом

столе, раненый Арсеньев просил до поры до времени не трогать картину. Храбрый был офицер, но не повезло ему.

— Погиб? — спросил Приходько.

— Нет, потерял ногу. А спасла его девушка из рыбацкого поселка. Я позднее встретил ее в госпитале, а несколько месяцев назад довелось увидеть и самого Арсеньева. Он защищал проект постройки нового маяка в бухте Круглой. Он так красочно рисовал будущее этой бухты, что у меня самого, чорт возьми, зачесались руки. «Мы построим маяк своими силами, — говорил он. — Но какой! Это будет лучший маяк на нашем море. Я подниму на строительство рыбаков. Десантом в Круглую было положено начало освобождения всего полуострова. Пусть моряки, которые поведут корабль в Круглую, увидят огни и вспомнят о тех, кто кровью своей вернул нам эту землю».

Разговор прервал рассыльный. Командира подразделения просили подняться на мостик.

Шторм начался сразу. Ветер вдруг подул с такой невероятной силой, что матросы, держась за леера, с трудом передвигались по верхней палубе, крепили тралы, пушки, задранвали двери и люки. Ветер гнал, прижимая к мачтам тяжелые тучи, рвал парусину мостика и свистел в снастях. И корабли один за другим, то поднимаясь на волны, то глубоко зарываясь в них, медленно продвигались вперед.

На мостике головного тральщика «Гарпун» стояли капитан-лейтенант Мещеряков и лейтенант Приходько.

— Ваш прогноз, Приходько, не оправдался, — кутаясь в кожаный реглан, ворчал Мещеряков. — Как вы говорили: «После обеда стричься, бриться, песни петь и веселиться, а к вечеру придет буксир с баржой, заправимся и в бухту Круглую».

— Конечно, буксир из базы не придет.

— Какой буксир! Видите, что делается... Командир¹ предполагает, а море располагает. Но ничего...

«Из тридцати дней тридцать в море — не так уж мало», — подумал Мещеряков. Сколько раз мы спускали шлюпку в такую погоду, когда верхняя палуба уходила из-под ног, но

гребцы шли и подрывали мины. Старшина первой статьи Юрьев дважды добирался до мины вплавь. Сколько раз... А, да что говорить... Перепахивать морской район, начиненный минами, все равно, что сидеть с огнем на бочке с порохом. Одним словом, тралили на славу. В день раз пять на матросах тельняшки становились мокрыми и высыхали вновь...

Во время поворота «Гарпун» положило на правый борт. Волна окатила мостик и палубу.

Мещеряков выпрямился и, ощущая, как за воротник пробираются струйки ледяной воды, сказал:

— Тяжело будет входить в бухту Круглую. Как в мешок. Слева отмель, справа каменная гряда и береговой обрыв.

— Стоит ли рисковать? — настороженно спросил Приходько.

— У нас нет другого выхода. Горючее на исходе, а дрейфовать в шторм возле минных полей — не меньший риск.

— Я никогда не был в Круглой, — сказал Приходько.

— Знаю. А мне довелось входить в нее с десантниками, причем погода была немногим лучше. Вот здесь-то я и высаживал отряд капитан-лейтенанта Арсеньева.

— Надвигается дымка, — заметил Приходько.

— Туман, — поправил Мещеряков. И тут же подумал: «Это не входило в мои расчеты». А Приходько он сказал: — Смотритель маяка не знает, что наши корабли первыми идут в бухту Круглую. Из-за этого тумана мы не обнаружили огней, установленных на развалинах старого маяка.

Корабли, сбавив ход, с трудом развернулись и легли на новый курс. Туман стался низко, почти над самой водой. По всем расчетам маяк уже должен был открыться. Но проходила минута, вторая, и как ни вглядывался в ночную темь вахтенный сигнальщик, он ничем не мог порадовать ни командира подразделения, ни командира корабля.

И вдруг сквозь пелену тумана блеснула едва приметная солнечная икра.

— Маяк, — стараясь перекричать шум волн и ветра, выпалил сигнальщик. — Вижу огни маяка!

— Внимательно наблюдать! — встрепенулся Мещеряков.

причалы и дома рыбацкого поселка, разбросанного у самой воды. И над всем этим поднималась и властвовала, высеченная точно из мрамора, белая башня маяка. Величественная скульптура матроса и солдата венчала ее купол.

— Узнаю дело рук твоих, «маячный капитан»,— проговорил Мещеряков. И, обращаясь к Приходько, добавил: — Берншлюпку, пойдем на маяк.

— Побриться бы надо, товарищ командир, переодеться. Перепугаем зрителя маяка.

— Хорошо. Полчаса хватит?

— Вполне.

— Значит, стричься, бриться, умываться...

Но побриться так и не удалось. От причала шла рыбацья лодка. Трое гребцов, налегая на весла, держали курс на тральщик. И не успел Мещеряков дойти до своей каюты, как его нагнал рассыльный.

— Вас рыбаки просят.

За круглой башней маяка, омытой первыми весенними дождями, шумело море. Гребни волн, словно языки пламени, лизали обрыв, тянулись к стенам маяка. Торопливо проплывали над белой башней облака и терялись за пеленой тумана. На берегу, у самой воды, громоздились развалины немецких дотов, ржавела выброшенная на отмель и разорванная надвое немецкая баржа. Волны били в ее борта, как в барабан. И над этим многоголосым шумом волн и ветра дрожал низкий бас одинокого бую. Вечный пленник моря, прикованный к мертвым якорям, у входа в бухту, он напоминал большого одноглазого сына. От причалов, захлестанных морской водой, просмоленных баркасов, стоящих на туго натянутых пеньковых канатах, тянуло смолой, крепким дегтем и рыбой.

На песчаном берегу горел костер. Пламя его освещало сухую фигуру старого рыбака Андрона Королева. Дед был молчалив и угрюм. Присев на корточках, он с тревогой смотрел на море.

— Южак дует,— сказал Андрон, здороваясь с Мещеряковым.— Солнце пыне и не показывалось. Ночью ветер не переломит волну.

— Узнал меня, дед?

— Как не узнать, ты ведь тогда со своего корабля палил...

— Верно, память у тебя примерная.

Андрон носит просторный нанковый костюм и башмаки из простой кожи, смазанные дельфиньим жиром. Вместо пояса на нем обрывок крашеной сети. Глаз у Андрона острый, колючий, и весь он — подвижной и крепкий, с узловатыми пальцами.

— Обжились, — говорил он. — Вона какой маяк, на все море! Смотрю на огни, и все мне чудится и как Марфа с веревкой да камнем на шее над обрывом стоит, и как меня фрицев комендант пытал... Внучку-то мою признали? Она в госпитале Арсеньева выхаживала.

— Как же!...

Рыбачка Марфа подняла глаза из-под спущенного на лоб пухового платка.

— Старые друзья, — приветливо проговорила она. — Идемте скорей, а то «маячный капитан» ждет, небось, не дождется.

— Проводи на маяк и ты, Сергей, — обратился Андрон к молодому рыбаку.

От костра поднялся парень в зеленой гимнастерке и высоких резиновых сапогах. Он поправил выцветшую армейскую фуражку и сказал:

— Идемте.

Шли неторопливо, и галька звенела, как битое стекло под подошвами тяжелых сапог...

Арсеньев встретил Мещерякова у дверей маяка. Он стоял, опираясь на палку, в черной флотской шинели и фуражке.

— Ну, душа моя, вот и ты на моем корабле, — волнуясь, произнес «маячный капитан». — Беспокоился я за вас вчера очень... Ну, об этом после... заходите... Проводи гостей Марфишка.

— Да я на минуточку, — сказал Мещеряков.

— Э, нет. Ты наш гость, — не унимался Арсеньев, — откажешься, обидишь на всю жизнь.

— Ты понимаешь, — уже сидя за столом, говорил Ар-

сеньев, — все работали — и дед Андрон, и Марфа, и Сергей Ручьев. Вот посмотри, какой орел. Танкист и электрик, мастер на все руки. А что произошло вчера? Перед самым пуском маяка отказала осветительная система. Ты представляешь? — И после паузы добавил: — Спасибо, рыбаки помогли. Не дрейфовать же вам в шторм возле минных полей!

— Вчера мне передали из базы, что новый маяк будет работать. Но я умолчал об этом. Хотелось, чтобы мои молодые офицеры почувствовали все то, что испытали мы с тобой, когда без огней входили с десантом в бухту Круглую.

— Нет, нет, я не об этом. Речь шла о моей репутации, о моей чести.

Когда вечером тральщики, покидая бухту, проходили мимо маяка, на верхней площадке его, под куполом, провожая корабли, стоял Арсеньев.

С мостика головного корабля казалось, что ожила скульптура матроса и солдата, венчавшая купол маяка.

— Да, — обращаясь к Приходько, проговорил Мещеряков, — напомни мне, когда вернемся в базу, о картине, что висит в нашей кают-компании. Надо ее привести в порядок...

ИГОРЬ ЛЮБИМОВ

СТАРАЯ БЕСКОЗЫРКА

Командир корабля был чрезвычайно удивлен: за два месяца службы Алексей Близняк успел зарекомендовать себя одним из самых дисциплинированных матросов нового пополнения. И вдруг случилось такое! И командир корабля, выслушав доклад старпома, приказал немедленно вызвать к нему виновника происшествия.

Накануне вечером, незадолго до раздачи коек, Близняк разбирал свои вещи, аккуратно уложенные в чемодане. Сидевший рядом матрос Зотов, случайно заглянув в чемодан, увидел в нем бескозырку и, когда Близняк отвернулся, ловко выхватил ее из чемодана. Это была старая бескозырка, поте-

рившая от времени цвет и форму, и на ее гвардейской ленточке почти невозможно было разобрать надпись.

Зотов — большой шутник и весельчак — набросил бескозырку на голову, прихлопнул ее ладонью и, забавно скорчив лицо, пошел под дружный хохот матросов по кубрику, прихрамывая и нараспев выкрикивая:

— Шурум-бурум, старья берем!..

Близняк, услышав смех, обернулся. Секунду он стоял неподвижно, потом, поблуднев, бросился к Зотову, сорвал с него бескозырку и закричал:

— Идиот!. Комедиант несчастный!..

Что произошло бы дальше — сказать трудно. В этот момент дверь раскрылась, и в кубрик вошел старпом, совершавший вечерний обход корабля.

Близняк не пытался объяснить свое поведение, и старпом счел нужным наложить на него взыскание. При докладе командиру корабля он вскользь упомянул об этом инциденте.

Происшествие, однако, заинтересовало командира. Он вызвал к себе матроса.

— Товарищ Близняк, мне доложили о вашем поступке. Я хотел бы знать, почему вы так грубо реагировали на шутку Зотова и что это за бескозырка, из-за которой вы оскорбили своего товарища?

Юноша чуть приоткрыл рот, как бы желая что-то сказать, но только перевел дыхание и не проронил ни слова.

— Сядьте, — показал командир на стул, — и расскажите все начистоту.

Разговор продолжался больше часа... А вечером в большом кубрике собрался весь свободный от вахт и дежурств личный состав корабля. Рассказ командира корабля был выслушан в глубоком молчании.

* * *

...Горячее солнце льет полуденный зной на тихий приморский поселок. По пустынной улице, вдоль белых домиков, прикрытых зеленью фруктовых садов, медленно шагает прохожий.

Тяжело ступая запыленными сапогами, он внимательно смотрит по сторонам, изредка останавливаясь у ивовых плетней. На нем черный матросский бушлат, из-под которого спинеет полосатая тельняшка; на голове помятая бескозырка с черно-оранжевой лентой, тисненной пятью золотыми буквами — «Варяг»; за спиной тяжелый солдатский мешок. Лицо уже немолодое, светлые глаза чуть прищурены.

Матрос остановился у одной из калиток. В глубине чистого дворика в тени старых яблонь спряталась белая хата.

На крыльцо вышла женщина с ведром в руках. Прикрывшись ладонью от солнца, взгляделась в стоящую у плетня фигуру, на мгновение замерла, потом тихо ахнула, прижав руки к груди, — ведро со звоном покатилось по ступенькам.

Толкнув низенькую калитку, матрос вошел во двор, женщина бросилась ему навстречу. Он крепко прижал ее к себе правой рукой, она же то припадала мокрым от слез лицом к жесткому сукну бушлата, то, подняв голову, всматривалась в его глаза, глядя на его впалые щеки и все повторяла:

— Никита, Никитушка... пришел, вернулся, голубчик ты мой родной!

За плетнем остановилась группа мальчиков, видимо, только что пришедших с моря, — у них еще не просохли взъерошенные волосы и блестели на солнце мокрые рубашонки. Впереди стоял парнек лет двенадцати, с любопытством, как и другие, смотревший на происходившее. В его больших серых глазах сквозило недоумение.

— Ваня! — воскликнула женщина. — Ведь это батя... батя вернулся!.. Иди скорее, поздоровайся, Ваня!..

На лице мальчика появилась застенчивая и несколько недоверчивая улыбка; он продолжал все так же внимательно смотреть на стоящего рядом с матерью человека, но не двинулся с места.

Ласковый взгляд матроса встретился с глазами сына.

— Иди же, ну, иди... — подталкивали его товарищи, а Ваня все стоял.

И только когда отец сделал первый шаг, Ваня нерешительно двинулся к нему навстречу. Но стояло матросу, на-

гнувшись, обнять его, как жгучая волна радости захлестнула мальчика, и он понял, что наступила та долгожданная минута, о которой так часто мечтал он с матерью.

Матрос поднял одной рукой мальчонку, и только теперь заметили жена и сын, что левый рукав бушлата заложен в карман, а на груди отца тускло поблескивает белый крестик, прикрепленный к черно-оранжевой полосатой ленточке.

...Так вернулся домой после русско-японской войны Никита Близняк — матрос первой статьи с крейсера «Варяг».

А спустя восемь лет был призван на военную службу во флот и сын его Иван. В день расставания отец вынул из сундука бескозырку и, подавая ее Ване, сказал:

— Вот тебе, сынок, мое флотское благословение. Береги и вспоминай отца. Крепко помни, что отец твой воевал за Родину и русский народ. Служи и ты так же честно своему народу...

* * *

Застонав, Иван тяжело повернулся и открыл глаза. Было темно и тихо; сильно болела голова, хотелось пить. Возвращавшееся сознание постепенно восстанавливало в памяти нить прошедших событий: были в разведке, обнаружены белыми... окружены... рукопашная схватка...

Близняк с трудом приподнял голову и огляделся. В полумраке серели бревенчатые стены большого сарая.

Рядом с Иваном лежал матрос в бушлате.

— Что, друг, очухался? — негромко произнес он.

— Голова трещит, — ответил Близняк, продолжая всматриваться в глубину сарая. — Куда это нас занесло? — И, помолчав, спросил: — А эти кто? — У противоположной стены он рассмотрел несколько неясных фигур.

— Пленные, — сказал матрос тихо. — Как мы с тобой. Эх, и дело было! — воскликнул он вдруг, подползая ближе к Ивану. — Ну, да и мы немало их уложили!

— А как Петров?

— Цел Петров, вон позади меня лежит. Петров! — негромко позвал матрос.

— Здесь я,— неохотно откликнулся хриловатый голос, и в полумраке показалась голова красноармейца в серой буденновке.

— Вот что, хлопцы,— проговорил Близняк, с усилием приподымаясь.— Если кто из нас в живых останется, надо тот план, который я зарисовал,— он понизил голос до шопота,— и все другие сведения доставить командованию. Они там по-зарез нужны. Все спрятано у меня в бескозырке. Я се...

Он не договорил,— снаружи послышался приближающийся топот ног, громкие голоса, затем лязг отодвигаемого запора. Вместе со скрипом двери в темноту ворвался яркий солнечный свет. На пороге стояла группа солдат с винтовками; впереди, сжимая в руке наган,— очевидно, старший. Оглядевшись, он направился к лежащим против двери и ткнул Ивана сапогом в бок:

— Ну, вы, развалились... Встать, живо!

Окруженные солдатами, все трое шли по двору. На воздухе Ивану стало легче. Вошли в дом. В большой комнате за письменным столом сидел лысый офицер с капитанскими погонами, на его мясистом носу блестели овальные стеклышки пенсне.

Заметив бескозырки матросов, капитан прищурился:

— С «Авроры»? Ого, какие птицы залетели! И этот с ними? — Несколько секунд он молча разглядывал пленных, потом продолжал: — Ну вот, голубчики, если хотите пожить еще на свете, так не вертитесь, признавайтесь во всем... Говорите, какой части, кто из вас командир, куда, зачем пробирались. Ну вот, хотя бы ты,— ткнул он пальцем в стоявшего с краю Близняка.

— Отбились мы от своих, заблудились, вот и все,— ответил равнодушно Иван, глядя в сторону.

— Та-а-к-с,— пропел капитан раздельно.— Отбились, заблудились... — И вдруг стукнул кулаком по столу: — Вы что же, сукины дети, думаете, я с вами миндальничать буду? Запорю! Шомполами!.. — Он свирепо оглядел поочередно каждого и коротко бросил: — Обыскать!

Солдаты подскочили к пленным, но в это мгновение

Петров вдруг сделал шаг вперед и, приложив дрожащую руку к шлему, срывающимся голосом заговорил:

— Ваше высокородие, дозволейте доложить!.. Я все расскажу... Я не большевик, ваше высокородие, до мобилизации пошел... У меня отец в Тамбове пекарню держал...

— У, гад! — крикнул матрос, размахнувшись кулаком; солдаты схватили его за руки. Петров шархнул в сторону и торопливо продолжал:

— Они оба коммунисты, ваше высокородие, вот этот, — он показал на Близняка, — командир. У него в бескозырке важный документ спрятан...

Бородатый унтер сорвал с головы Ивана бескозырку, тот не шелохнулся, только сжал до боли кулаки. Офицер с брезгливой миной взял бескозырку, пошарил внутри и вынул помятый незапечатанный конверт. В нем оказался сложенный вчетверо лист бумаги. Капитан развернул его, сдвинул брови, посмотрел на свет, — листок был совершенно чист.

— Это что же, любезный? — сказал он, подозрительно смотря на Петрова; тот покраснел, затем побледнел, но в этот момент сидевший у стола поручик протянул руку к листку и произнес многозначительно: — Позвольте мне, Евгений Викентьевич, тут может быть химия, симпатические чернила...

— Ладно, разберемся... А с тобой, любезный, мы побеседуем, — обратился капитан к Петрову более ласковым тоном.

— А этих убрать! — резко кивнул он на матросов. — И тех, кто в сарае, — тоже!..

Солдат ткнул Ивана прикладом в спину. Близняк повернулся, пошел к двери. Его товарищ последовал за ним.

Через час их вели по узкой лесной дороге. Впереди шли оба матроса, крепко державшие друг друга за руки; сзади них несколько пленных, в большинстве молодые красноармейцы, и вокруг группа вооруженных солдат, возглавляемая конвойным офицером.

Близ реки, там, где дорога образует крутой поворот, они вышли к обрывистому берегу высотой в несколько метров.

Пленных установили в ряд вдоль края обрыва; напротив выстраивалась серая шеренга солдат.

Прапорщик, подняв вверх наган, натужнво прохрипел:

— По большевикам... Отделение...

Но, прежде чем раздалось заключительное «пли», на одну, быть может, сотую секунды раньше, Иван сделал порывистый шаг назад — к обрыву — и стремительно полетел вниз. Почти одновременно воздух разорвал оглушительный залп винтовочных выстрелов.

Перевернувшись в воздухе, Иван упал в воду плашмя, больно ударившись. Его потянуло на дно, но сильным толчком ноги он рванулся кверху и вынырнул почти у самого обрыва. Из-за нависшего берега ему не было видно, что происходит наверху, — доносился лишь неясный шум голосов.

У самого уречья он заметил торчащую из воды корягу. В два взмаха Близняк оказался около нее, подтянулся и кое-как вскарабкался. Вода струями лилась с него. На поверхности реки широко расходились круги; в центре их вода вскипала пузырями, как будто кто-то бился в ней, пытаясь вынырнуть. Близняк колебался: броситься на помощь — бесполезно, только обнаружишь себя...

Прошло несколько минут. Голоса наверху не замолкали. Очевидно, белые хотели удостовериться, что все расстрелянные утонули. Спуститься в этом месте к реке им было трудно, поэтому они предпочли наблюдать с высоты.

День уже был на исходе, когда наверху наступила тишина. Только птицы перекликались в лесу... Расстегнув полевую сумку, Иван вынул из нее старую отцовскую бескозырку, осторожно ошупал под серой подкладкой намокшие бумаги и плотно натянул ее на голову, невольно усмехнувшись, вспомнив, как изумился офицер при виде чистого листка бумаги, который Иван приготовил для письма.

Связав мокрую одежду в плотный узел, Близняк прикрепил его ремнем к шее и, стараясь не шуметь, спустился в воду. Чтобы добраться до пологой части берега, ему пришлось плыть минут двадцать. Выбравшись на сушу, он долго пробирался густым кустарником, пока не дошел до одинокой избушки старого рыбака.

Спустя пару дней, глухой ночью, старик перевез его на лодке к своим.

* * *

Последние отзвуки артиллерийской канонады постепенно замирали вдали. Приморский поселок был обойден войной, но со дня на день здесь ждали появления немцев.

Мария-Ильинична вышла на крыльцо, с беспокойством вглядываясь в сумерки. «Что-то будет дальше? Вот уже сколько времени нет от мужа вестей. Иван Никитич, несмотря на немолодой уже возраст, ушел с начала войны во флот, а вчера ко всему и Ленька, старший сын, затвердил, что уходит к партизанам. Тоже мне партизан в шестнадцать лет!»

Тяжело вздохнув, Мария Ильинична вошла в дом. Стенело. Бабушка собирала ужин. Младший сын Алексей сидел у стола, задумчиво глядя на лампу. Было тихо, только в открытое окно доносилось настойчивое стрекотание цикад.

А Леонида все не было. «Ну, как можно в такое время где-то бродить до поздней ночи!» — Мария Ильинична нервно прошла по комнате. Случайно взгляд ее упал на стену. Она чуть вскрикнула. Сразу все стало понятным. Небольшой коврик на стене, где висели охотничья двустволка и старинный матросский нож, был пуст; вместе с ними исчезла из комода и старая дедовская бескозырка.

Немцы пришли на следующее утро.

Через два дня в поселке, на видных местах, висело объявление:

«В последнее время в районе появилась банда, именуемая партизанским отрядом и направляющая свои преступные действия против германских воинских частей. По полученным сведениям, банда имеет соумышленников в числе жителей настоящего посёлка и пользуется их помощью. Вследствие этого предлагается всем знающим место расположения банды или отдельных лиц, с ней связанных, заявить об этом в штаб германской воинской части в течение 24 часов с момента выпуска настоящего объявления. В про-

тивном случае, при необнаружении указанных выше преступников, будут преданы казни заложники, взятые из местного населения...»

Заложников уже взяли — они находились под охраной в большом колхозном амбаре. В числе их были: учитель, агроном, несколько передовых людей поселка из колхозников и рыбаков, а также семья бывшего председателя колхоза, а теперь командира военно-морского флота, Ивана Никитича Близняка.

Немецкий штаб разместился в одном из лучших в поселке домов, окруженном небольшим, но густым садом. Здание охраняли солдаты с автоматами: один расхаживал перед фасадом дома, другой — позади сада вдоль изгороди и еще один маячил на крыльце перед дверью.

...Темная, безлунная ночь...

— Раз-два, раз-два,— четко выстукивали подкованные каблуки. Когда шаги часового удалялись, вдоль улицы, плотно прижимаясь к заборам и к стенам домов, осторожно двигалась маленькая темная фигурка. Время от времени она скрывалась в придорожной канаве и ползла по ее дну. Наконец, изгородь. Легкий прыжок в траву, хруст ветки... Часовой резко обернулся, насторожился. Никого. Всюду попрежнему мрак и невозмутимая тишина...

Через открытое окно слышны голоса. Развалившись в кресле и склонив голову набок, обер-лейтенант снисходительно слушал доклад офицера, сидевшего против него. Третий лежал на диване и, поминутно зевая, листал потрепанный немецкий журнал.

— Что же касается партизан и их сообщников,— почти тельно докладывал офицер,— то никаких сведений о них, герр обер-лейтенант, еще не поступило...

Обер-лейтенант поднялся, потягиваясь, с кресла и соби-рался что-то сказать, как вдруг замер на месте, устремив широко открытые глаза на окно. Перед ним на подоконнике лежала матросская бескозырка с полустертой надписью «Варяг». В первое мгновение он невольно сделал шаг к окну,

но потом, как бы опомнившись, быстро выдернул из кобуры пистолет. Два других офицера тоже схватились за оружие.

В этот момент раздался оглушительный взрыв брошенной гранаты. Посыпалась штукатурка, блеснули осколки разбитого стекла. Матрос вскочил в комнату через окно. В руке он сжимал пистолет. На полу лежали два неподвижных тела, третий немец безжизненно сидел на ковре, прислонившись к дивану. В раскрытую силой взрыва дверь заглядывали испуганные лица солдат. Матрос выстрелил — стоявший впереди упал, остальные скрылись. Послышались крики: «Матросы! Полосатая смерть!..»

Одновременно где-то недалеко прозвучала характерная дробь пулемета, в другой стороне пронесся грохот винтовочных залпов и совсем близко, почти у самого дома, слышались разрывы ручных гранат. Казалось, во всем поселке начался ожесточенный бой.

Матрос подбежал к окну, и, высунувшись наружу, несколько раз выстрелил по мелькавшим в темноте фигурам.

В эту минуту прозвучала автоматная очередь.

К утру все было кончено. Большую часть гитлеровцев партизаны уничтожили, остальных взяли в плен. Леонид Близняк был найден на том самом месте у окна, где его сразила автоматная очередь. Он лежал в отцовской тельняшке, крепко сжимая в застывшей руке пистолет. В трех шагах от него, в осколках разбитого стекла, среди обломков штукатурки, нашли старую бескозырку.

В тот же день на небольшой площади поселка, перед домом сельсовета, состоялся митинг. Командир партизанского отряда, обращаясь к жителям, сказал:

— Леонид Близняк проявил исключительный героизм. Своим подвигом он помог нам разгромить немцев и спас свою семью и других заложников от смерти. Он сообщил нам точные данные о расположении немцев и сам предложил план нападения. Мы разработали этот план и, как видите, добились успеха. Леонид Близняк, сын и внук русских моряков, с честью выполнил свой долг и пал смертью храбрых...

Командир корабля продолжал:

— ...Вчера вечером матрос Алексей Близняк, младший брат погибшего Леонида, проявил невыдержанность и оскорбил товарища. Он сознает свою вину и будет просить у Зотова прощения. Всей неуместной шуткой Зотов задел его чувства, не зная, конечно, того, что эта вещь дорога Близняку как память о близких людях. А Близняк, опасаясь, что его не поймут, сочтут его чувства пустой сентиментальностью, не хотел сначала объяснить, в чем дело. Но он был не прав. В этой флотской бескозырке, которая лежит сейчас перед нами на столе, шли защищать Родину, бились с врагом и побеждали представители трех поколений знатной семьи моряков. И мы, конечно, относимся с уважением не к этой ветхой, давно отслужившей свой срок вещи, а к памяти тех людей, которые ее носили...

Дружное рукоплескание наполнило кубрик. Сидевший у стола Близняк низко опустил голову, чтобы скрыть свое смущение. К столу подошел Зотов и остановился перед Алексеем. Протянув ему руку, он произнес:

— Я тоже прошу прощения у товарища Близняка... Этот случай послужит для меня хорошим уроком на всю жизнь...

И руки их встретились в крепком дружественном пожатии над старой флотской бескозыркой с полустершейся надписью «Варяг».

КИРИЛЛ ЛЕВИН

СВОЙ КОРАБЛЬ

Уже по походке, по неуверенным движениям Малышев узнал новичка. Он с одобрением смотрел на молодого матроса. Ему нравились его мощная фигура, круглые, широкие плечи, выпуклая грудь, длинные, мускулистые руки... И, глядя на этого сильного, еще недовзросшего парня, старшина вспомнил себя, каким он девять лет назад впервые пришел на корабль. Как непривычно и неловко чувствовал он себя в первые дни!

А теперь, возвращаясь из отпуска, старшина 2 статьи с волнением торопился на свой корабль. И сразу, когда ступил на палубу, когда прошел к себе в кубрик, где жил со своим расчетом, и увидел сверкающую, щегольскую чистоту кругом и свою койку, аккуратно заправленную серым одеялом, с белой подушкой в изголовье, увидел портрет матери над постелью, — почувствовал себя дома, глубоко и удовлетворенно вздохнул.

Товарищи окружили его. Малышев еле успевал отвечать на расспросы. Все же он заметил, как в кубрик вошел встреченный им на палубе незнакомый матрос и нерешительно остановился у двери.

— Молодые пришли? — спросил Малышев у Королева, своего заместителя.

— Вчера расписали по расчетам.

— А этот? — кивнул в сторону вошедшего старшина.

— Серов. Прислали к нам учеником комендора.

— Добро, сластся — хороший парень...

— Вроде ничего... присматривается...

— Это хорошо. Учить будем...

Во время обеда Малышев опять увидел своего новичка. Тот сидел на корточках прямо на палубе и с видимым удовольствием ел наваристый, подернутый жиром флотский борщ. Теперь движения у него были развязнее, чем тогда в кубрике, и в лице, совсем еще юном, было сосредоточенное выражение, как у детей, когда они чем-нибудь заняты.

— Ну, как нравится наша корабельная еда? — добродушно и покровительственно спросил Малышев.

— Хороша, — ответил новичок и, взглянув на погони Малышева, повторил: — Хороша, товарищ старшина.

— Как себя на корабле чувствуете? — спросил Малышев.

— Не привык еще после учебного отряда, — неуверенно ответил Серов.

— Привыкнете, да так, что потом никуда отсюда не захотите. Я ни одного хорошего матроса еще не видел, который бы за свой корабль... — и старшина, не закончив фразы, сделал рукой жест, точно колол кого-нибудь.

И Серов понял его. Все же он с некоторым недоверием оглянулся кругом — на башни, с торчащими из них орудиями главного калибра, на торпедные аппараты, на мостик, где ходил вахтенный сигнальщик, на седую, неприветливую воду, что плескалась у борта корабля... Неужели он сроднится со всем этим? Но ему было приятно, что его начальник, старшина, бывалый моряк, с ленточками орденов и медалей на груди, так запросто беседует с ним. И потом — он упомянул о хорошем матросе, стало быть, он и его, Серова, считает хорошим матросом?..

Серов невольно с уважением оглянулся на свою башню. И, проследив его взгляд, Малышев внушительно произнес, подняв руку:

— Орудие первой носовой башни. Будете заряжающим. Вместе служить будем.

Медленно проходили первые дни на корабле у ученика комендора Ивана Серова, но быстро пошли они, когда он уже был в орудийном расчете Малышева. В начале своей службы он нетерпеливо ждал, что будет потом. В учебном отряде, занимаясь артиллерийским делом, он полюбил эту точную науку, старательно изучал матерьяльную часть, но все же нетерпение томил его. Ему было девятнадцать лет, он был горяч, и ему хотелось поскорее увидеть, к чему приложатся его знания,— по натуре своей и крайней молодости он более тяготел к практике, чем к теории.

Корабль немного ошеломил его. Тут было не так, как на берегу. Все здесь было точно рассчитано, все пригнано к своему месту. И люди, и механизмы подчинялись единому строгому и мудрому порядку, не допускающему никаких отклонений. И пока Серов не нашел своего места на корабле, не вошел в тесный матросский коллектив, ему было трудно. Сначала весь длинный, узкий корпус корабля, точно нацеленный для атаки, для стремительного хода, со всеми своими орудийными башнями, палубами, торпедными аппаратами, ютом, параванами, турбинами, котельными, казался ему неизмеримо сложным и запутанным организмом. Но вот он нашел свое

место по боевому расписанию в первой носовой башне главного калибра. Он теперь точно знал, что ему надо делать.

Малышев был строг, но дружелюбен и, главное, ровен и терпелив в обучении. Десять раз, не сердясь, показывал он Серову и другим молодым матросам, как правильно подавать снаряды, как класть их в лоток, показывал наводку — добивался того, чтобы каждый номер расчета в случае нужды мог заменить выбывшего из строя товарища. На башне была укреплена медная табличка. В первый раз подойдя к орудью, Серов заметил ее и прочитал краткую надпись. Там говорилось о боевых делах орудия, о потопленных его выстрелами неприятельских судах. Заключительные строки взволновали Серова:

«Смертью героя погиб на боевом посту у этого орудия заряжающий старший краснофлотец Ефим Соснов...»

Серов оглянулся на Малышева. Он подумал, что и старшина вместе с Сосновым сражался у этого орудия, и ему захотелось спросить его об этом. Но спросить за ту минуту было нельзя: шло учение, а во время учения Малышев не разрешал отвлекаться ничем посторонним.

Вечером Серов поднялся на палубу. Была светлая ночь, луна сияла в синем шелковом небе, и широкая посеребренная дорожка тянулась далеко с моря к кораблю. Укутанные чехлами орудия смотрели в морскую даль. И Серов вдруг представил себе, как их корабль вел бой, как рвались снаряды над ним, как Соснов и Малышев сражались у того орудия, в расчете которого он числился. И те слова, которые ему говорили в учебном отряде, когда назначали его на корабль, вдруг вспомнились ему: «Вы пойдете, Серов, на гвардейский корабль, один из самых славных в нашем флоте. Не забывайте этого и цените честь, которую вам оказали».

И вот эти слова, на которые он тогда обратил мало внимания, теперь облеклись для него в плоть и кровь. Здесь на корабле он на каждом шагу видел памятники недавней боевой славы. Он видел моряков, которые были участниками этой морской славы. И то, что они были скромные, простые люди и ничуть не кичились своими делами, делало их облик еще

более значительным. Теплое чувство охватило Серова. «При случае обязательно попрошу старшину, — решил он, — пусть расскажет, как воевал, пусть расскажет про Соснова...»

Но просить Малышева не пришлось. На другой день в часы занятий по боевым постам старшина сам рассказал новичкам о том героическом бое, когда вражеский снаряд, разорвавшийся поблизости, поджег боезапас. Опасность угрожала не только орудию расчету, но и всему кораблю. Смертельно раненый Соснов схватил вспыхнувший заряд, выбросил его за борт и тут же упал замертво. Пример Соснова увлек остальных, и горящий боезапас был сброшен в море.

Но Малышев по скромности умолчал, что именно он первый бросился к горящему боезапасу. Об этом Серов и другие новички узнали от старослужащих.

...Как-то утром на корабле началось большое оживление. Зазвенели авральные звонки, на мостике появился командир. Раздалась команда: «По местам стоять, со швартовов сниматься». Никакой суетни не было на корабле, все шло ровно и налаженно, быстро и красиво, и только знающий моряк мог понять, какой долгой выучки и тренировки стоили эти налаженность и быстрота. Выбрали якорь, корабль медленно двинулся к выходу из гавани, и за его выходом с напряженным интересом следили с других кораблей. Весь экипаж эскадренного миноносца — от командира до матроса — знал, что малейшая ошибка или заминка будут отмечены, и где-то уже с хронометрами в руках ревниво подсчитывают, за сколько минут выбрали якорь и как быстро корабль выйдет из гавани.

...Корабль увеличил ход, вода закипела под его кормой, и сзади оставалась широкая, точно вспаханная, полоса моря. Ветер свежел, белые барашки появились на волнах, и боцман с досадой проворчал:

— К шторму идет. Пожалуй, не придется отстреляться. Да и шит вряд ли прибуксируют при такой погоде.

Точно кто-то невидимый руководил морем, небом, ветрами. Волны росли, и зеленые, с белыми косматыми гребнями громады весело шли на корабль и обрушивались на него. Только

сейчас понял Серов, как предусмотрителен был боцман, еще при выходе приготовивший все на случай шторма. Корабль встретил стихию вполне готовым. Через час десятибальный шторм бушевал во всю силу. Жуткое чувство охватило Серова. Ему казалось, что корабль погибнет в пучине. Но он взбирался на вершины волн, резал их острым форштевнем и упорно шел своим курсом. В одну особо суровую минуту Серов невольно придвинулся к Малышеву. Старшина был спокоен, никакого напряжения не было в его лице, и он обычным голосом отдавал распоряжения. Он увидел побледневшее лицо молодого матроса и улынулся:

— Повезло тебе Серов, — благодушно сказал он, — проследишься и настоящим теперь матросом станешь.

Командир стоял на мостике и иногда подносил к глазам бинокль. Высокая его фигура в длинном плаще резко и точно выделялась, она как бы господствовала над кораблем, и Серов не мог оторвать от нее глаз. Ему казалось, что пока эта спокойная, властная фигура останется там, никакая опасность не угрожает кораблю.

Эсминец изменил курс. Волна повалила его, но он легко встал.

Серов с трудом держался на ногах. Его мутило. Корабль вынесло высоко на волну, и орудия башни точно устремились в небо — грозные дула, всегда бесстрашно встречавшие врага. Глядя на них, Серов вспомнил рассказ Малышева о том бос, когда погиб Соснов. И тогда был шторм, и так же угрожающе ревели море. И Серову показалось, что он давно уже на корабле, что вместе с Сосновым, с Малышевым сражался здесь, вместе с ними заслужил гвардейское звание. Грохот орудий донесся до него. Мощный залп прогремел в воздухе.

— Вот так молодцы! — восхищенно воскликнул старшина. — Им любая погода будь, а щит в своем квадрате... Вот она, балтийская выучка!

Серов жадно стал всматриваться в даль. Шторм немного ослабел, но волны все еще трепали корабль. Далеко впереди, в серовой дымке вырисовывался грозный силуэт крейсера, стрелявшего по щиту.

Вскоре эсминец лег на боевой курс. С замиранием сердца Серов ждал, когда раздастся ревун. Корабль дрогнул — стреляло второе орудие. И когда он схватил снаряд, когда лягнул затвор и сильно ударило, так что все в башне глухо зазвенело, радостная гордость охватила его: он представлял себя в бою и негодовал на крайнюю свою молодость, которая не позволила ему быть здесь, в этой грозной башне, в те славные дни, когда его товарищи стояли у этого орудия в огне настоящего сражения!

Корабль вел огонь. Дальномерщники, радисты, артиллеристы, электрики, машинисты — все они — от командира, стоящего на мостике, до механика, находившегося в глубине корабля у своих турбин, — все они слились в одном стремительном, строго налаженном действии. Весь корабль, его орудия, механизмы и люди как бы превратились в одно грозное и могучее существо, нацеленное для разящего удара. Серов, работая у своего орудия, теперь впервые по-настоящему почувствовал себя органической частицей своего корабля. Возбуждение в нем ширилось, искало выхода. Эх, теперь бы в бой, в огонь сражения пустили бы ученика комендора Серова! Увидели бы тогда, какое горячее, верное сердце бьется в его груди и как гордо отдал бы он жизнь за Родину, подобно тому как отдал ее у этого орудия Ефим Соснов...

И когда все уже кончилось, когда было объявлено, что, несмотря на трудные условия стрельбы, она была выполнена успешно, и корабль, взяв курс к своей гавани, резал носом темную волну, радость охватила Серова. Ему хотелось сделать что-то большое, и в яростном самозабвении он вместе с товарищами чистил орудие, работал так, точно хотел отдать кораблю, ставшему родным, все силы, бушевавшие в нем. Он счастливо улыбнулся, встретив взгляд Малышева, и старшина, понявший, что происходило с молодым матросом, кивнул ему и негромко сказал:

— Ну вот, и породнился ты с нами. Хорошо ведь, а?

Серов только взглянул на него и ничего не ответил. Море широко расстиралось перед ним, и свежий ветер гнал веселую, брызжущую пеной и жемчужными искрами волну...

О ДНО Ф А М И Л Е Ц

Саша обтер блестящий срез орудийного ствола паклей подержал на нем ладонь и шопотом сказал:

— Ну вот, мы и приоделись, Аннушка...

Баковую пушку номер один еще с легкой руки демобилизованного главстаршины Попова звали Анной Андреевнoй. Все, кроме лейтенанта Мерничего, старшего артиллериста, считали естественным, что и ее теперешний наводчик имел право на фамильярность.

Саша осторожно опустил кисть в ведерко, еще раз, уже служебным, изучающим взглядом, обвел орудие и остался почти доволен: краска легла ровно, нигде не задев меди и не стекая на палубу; его Анна Андреевна выглядела нарядно.

Осторожно обтерев края серебряной таблички «Орудие имени старшины второй статьи А. Ф. Иванова», Саша решил еще раз пройти кистью под компрессором и снизу ствола, и за этим нехитрым занятием его и застало приказание с вахты.

— Комендору Иванову немедленно явиться в каюту старшего артиллериста, — раздельно объявил вахтенный пад самым ухом и от себя вполголоса добавил: — не иначе, как за фитилем!

Вахтенный не ошибся.

— Иванов, как же это назвать? — лишь только Саша вошел в каюту, раздраженно спросил лейтенант Мерничий и поднял на провинившегося свои зеленые зоркие глаза. Саша молчал.

— Так вас неправильно информировали, товарищ лейтенант, я ведь на брезенте, — подавленно вздохнув и переступив с ноги на ногу, сказал он уже через полминуты и опять потупился.

— На брезенте, на брезенте... А кто же разрешил вам? — поморщившись, жестко сказал добрый от природы лейтенант. — Придется один наряд вне очереди...

— Есть получить один наряд вне очереди! — вздохнув еще

раз, но уже с явным облегчением, ответил Саша и, засияв серыми глазами, добавил:

— Ну, а как же не повозиться с ним, при его вредном характере, впоотьмах? А ну, как он закапризничает, да и откажет в самую страду да в почное время? Что ж тогда? — Лицо его взволнованно порозовело.

— Замолол! — с сердцем сказал лейтенант. — Ничего-то до вас не дошло. Сядьте! По порядку! Кто «он»?

— Он, само собой, затвор... — послушно садясь в плюшевое кресло и примащивая бескозырку тульей кверху у себя на коленях, пояснил Саша.

— Ну, и просты же вы, — протянул Мерничий, уводя свои глаза в сторону. — Так и есть! Ничего-то до вас не дошло. Не то просты, не то хитры слишком... — Мерничий сурово свел брови, и следящий за его лицом Саша подтянулся и взял бескозырку с колен в руки. — Сколько раз мне вам напоминать, чтобы никаких «Аннушек» в обращении с оружием не было? Это — военный корабль, а не сквер на Петроградской. Вон, глядя на вас, и рулевые лот Томсона рыболовом звать начали. — Лейтенант помолчал и неожиданно спросил тем же суровым, требовательным тоном:

— Любите свое оружие?

— Полюбил, товарищ лейтенант.

— Так зачем же вы ему вредите? — все тем же ровным тоном собеседования спросил Мерничий.

— Я? Ему? Никак нет! Прежде всего я разбираю на брезенте. Все в сохранности и исключительно на его пользу, — запротестовал Саша.

— Занавесились вы своим брезентом! — с досадой прикрикнул лейтенант. — Шире смотрите! Ну, какое же это оружие, раз возле него нет порядка? Может ли оно исправно служить, такое оружие? Вы затвор сняли ночью, никому не доложив по команде. Коровушкин оптический прицел отвинтил...

— Так это запрещено наставлением — оптику отвинчивать, — с недоверчивой улыбкой напомнил Саша. — Ну и... разрешите доложить откровенно?

— А вы разве до сих пор не откровенно докладывали?

— Нет, тоже откровенно, ну, а это особенно... Ну, словом, я решил так: знать затвор вслепую нужно обязательно, а все прочее — условности. А затвор теперь я и знаю, как свою ладонь, — заключил Саша, глядя своими серыми глазами в глаза командиру.

— Иванов! — вдруг таким тоном сказал лейтенант Мерничий, что Саша сразу вскочил с кресла и перехватил фуражку из левой руки в правую. — Вы знаете, у чьего орудия вы несете службу?

— Так точно, товарищ лейтенант. У именного орудия навечно внесенного в списки корабля старшины второй...

— Хорошо. Но вы же знаете, что за нарушение дисциплины я должен вас отчислить от пушки номер один?

— Нет. Этого я не знал, товарищ лейтенант, — огорченно сказал Иванов и побледнел.

— Наконец, дошло. А как же могло быть иначе? При таком орудии может быть только безупречный комендор... Как вы окончили школу оружия? — сухо спросил Мерничий.

— С отличием, товарищ лейтенант. Грамоту дали! — все тем же угасшим голосом сообщил Саша и полез в карман за бумажником — грамота была всегда при нем.

Однако Мерничий остановил его коротким, нетерпеливым жестом.

— Мне нужны дела, а не удостоверения, — сухо вато сказал он и забарабанил пальцами по столу.

В каюте воцарилось тягостное молчание.

— Можете быть свободны, Иванов, — сказал вдруг старший артиллерийский офицер. — Рекомендую вам продумать свое отношение к службе... Кстати, пообедайте-ка минутку...

Лейтенант достал из ящика стола обычный сиреневого цвета заштемплеванный конверт и, вынув из него письмо, углубился в чтение.

Саша переминался с ноги на ногу. Садиться его уже больше не приглашали. Неужели кончились хорошие отношения с артиллеристом, со службой, с Аннушкой?

— Кстати, вы родственник покойного Андрея Федоровича Иванова? — не поднимая глаз от письма, спросил старший артиллерист.

Саша вспыхнул, смутился, но быстро овладел собой: речь шла о его прославившемся брате, о человеке, родство с которым он до поры до времени скрывал.

— Никак нет, — увертливо ответил Саша и опять покраснел, — я уже не раз заявлял, что нет. Мы просто однофамильцы...

— Гм-м ...вы — Александр Федорович, так кажется? А тот Андрей, и тоже Федорович, и тоже из Москвы. Странное совпадение! — все еще читая письмо, поднял брови лейтенант, как бы сопоставляя только одному ему известные факты. Саша пожал плечами.

— Так ведь нас, Ивановых, в одной Москве почти сто тысяч, товарищ лейтенант. Да и вообще я... — Саша вдруг загнулся.

— Да-да, что именно вы? — спросил Мерничий.

— И не достоин даже вовсе... — мрачно буркнул Саша.

— Что и требовалось доказать, — жестко заметил старший артиллерист, — недостойн такого брата, если бы он у вас был.

Письмо было длинное, на четырех страницах, и старший артиллерист, все не отпуская Сашу, снова углубился в чтение. Прежде этого с ним никогда не случалось.

— Разрешите итти, товарищ лейтенант? — утомившись ожиданием, попросился Саша, посчитав, что Мерничий о нем попросту забыл.

— А как, кстати, звать вашу матушку? — повидимому, не дослышав и бережно складывая прочитанное письмо, вдруг спросил Мерничий.

— Анна Андреевна, — быстро ответил Саша, взглянув на лейтенанта подозрительно, исподлобья.

— Странно, значит, я ошибся. Идите! — задумчиво и негромко сказал лейтенант и уже гораздо громче повторил: — Странно! Я почему-то считал, что Анна Филипповна. Ну, словом, можете быть свободны!

Мерничему, конечно, было ясно, что Саша и Андрей родные братья. Понял он также, почему Саша так упорно отрицает это.

* * *

Медленно отсчитывались справа по борту кружки и цифры на наружной стенке гавани — вся нехитрая штурманская кабаналистика, назначение которой — обеспечить кораблю уничтожение девятици.

— Н-да, Андрей был бы сейчас на месте, — истово, со вздохом сказал Фома Фомич Мерничий, опуская бинокль.

Черные шары на реях показывали средний ход, и уже быстрее прошли по левому борту створные маяки. Пеннилась серая вода.

Курс корабля был в море, на комендорские стрельбы.

Для Фомы Фомича стрельбы всегда существовали конкретно-курсовыми углами: ВИР'ом, суммой поправок на боковой или попутный ветер, на влажность пороха, на неопытность комендоров и многим другим, все в этом же роде, заслоня от него весь внешний, необстреливаемый, неартиллерийский мир.

В отличие от большинства старших корабельных артиллеристов, Фома Фомич никогда не говорил: «Я бил, я вел пристрелку, мой ВИР», а всегда: «Мы имели накрытие, мы взяли противника в вылаку, наш ВИР» и так далее — всегда во множественном числе. Но такого контакта и взаимопонимания, такой ясности и простоты, как было с покойным Андреем Ивановым, Мерничий уже давно ни с кем из своих первых наводчиков не мог достичь.

Как будто бы не он один выводил поправки по таблицам, не он корректировал стрельбу по первым всплескам, и не покойный Андрей Иванов держал врага точно на скрещивании нитей оптического прицела и по реву, секунду в секунду, обрушивал ему на голову выработанный ими вместе снаряд.

«Видимость преотличная, цель сама идет...» — вспомнил Фома Фомич любимую поговорку старшины Иванова и грустно усмехнулся.

После того сумрачного дымного рассвета, когда «Фокке-Вульф» штурмовали их миноносец дважды подряд и Андрея унесли с полубака с прострелянной головой, Мерничий сам как будто бы стал на один глаз хуже видеть и не так быстро рассчитывать в уме поправки.

Во время работы они редко и мало разговаривали друг с другом — того Иванова не надо было ни о чем ни предупреждать, ни особо инструктировать: у него видимость всегда была «преотличной», и цель «сама шла» на скрещивание нитей прицела.

— Да, тот Иванов был бы на месте, — в третий раз с сердцем повторил Мерничий, помолчал и горько прибавил: — А молодые... Что ж? Они и есть молодые. «Одной-то любви и делу мало. Нужны уменье, сноровка, талант...» — мрачно подумал Мерничий, сунул в карман таблицы стрельбы и, застегнувшись на все пуговицы, вышел из каюты.

Первым, с кем он столкнулся на мостике, был старик Хомяков, начальник училищного арткабинета, разговаривающий с командиром корабля, окончившим училище на четыре года раньше Мерничего.

— Здравствуйте, дорогой Егор Александрович! Рад вас видеть в добром здорovии! — искренне сказал Фома Фомич и тут только заметил на плечах старика лейтенантские погоны. — С производством вас! К нам на поход пожаловали?

— Здравствуйте, товарищ лейтенант! Спасибо. Да вот, как говорится, пожаловал. Инспектировать комендорские стрельбы. А то многие, как говорится, «отклонения» допускают. У вас, полагаю, этого фиксировать не придется? — совсем так же, как пять лет назад перед уроком, и начальственно и чуть-чуть застенчиво, спросил старик и погладила левую щеку, а это значило, что он волнуется. — Да-с, я давно уже не преподаю. — все же сказал он, хотя Мерничий ни о чем его не спрашивал.

— Полагаю, что не придется, товарищ лейтенант, — сказал Фома Фомич: — комендоры, товарищ лейтенант, как и всюду, молодые, в остальном же все нормально.

— Ну, вот и хорошо. Молодость — это тоже нормально.

Старым в запас пор. Иванов-то у вас служит? — справился старик.

— Один Иванов служит, товарищ лейтенант, — совсем безразлично сказал Фома Фомич и про себя добавил: — «Ишь ты, уж слышал...»

— Что же, это Андрея-то Иванова...

— Говорит: однофамилец, — все так же безразлично сказал лейтенант и покосился на море: буксир военного порта, крикливый и черный, как грач, уже тянул к отмели три комендорских щита.

— Так-так... Ну, что же, посмотрим, постреляем, товарищ Мерничий, — сразу перехватил взгляд лейтенанта в сторону щитов и вспыхнувшую в его голосе досаду, неизвестно чему радуясь, сказал Хомяков, — попробуем молодых. Ох-хо-хо, стариками-то все будем, а вот молодыми-то уж извините... — и опять другим, официальным тоном обратился к командиру корабля: — Прикажите приступить к комендорским стрельбам, товарищ капитан третьего ранга.

— Будет исполнено, товарищ лейтенант. Намерены проверять по тревоге? — почтительно козыряя, ответил командир.

— Можно и по тревоге, — сказал инспектирующий, доставая перетянутый резинкой блокнот.

— Так кто у вас на боковом-то первым наводчиком? Ага, Иванов и есть, — Хомяков даже довольно зажмурился. — Ну, начнем с однофамильца...

...Первая же очередь звонков выбросила уже бывшего наготове Сашу Иванова на полубак, к пушке. Обстановка была уже ясна: буксир, подтащив щиты к отмели, собирался уходить.

С ходу сдернув надульник, Саша вскочил в сиденье первого наводчика, вполглаза оглядел людей при пушке — все ли на месте — и, оградив ладонью рот, крикнул на мостик:

— Орудие номер один к бою готово!

Хомяков покосился на запущенный секундомер и довольно буркнул:

— Молодец! По-ивановски.

— Ну, товарищи, не посралим Анну Андреевну,— только и сказал Саша,— помните, где стоим...

— Орудия номер один курсовой угол шестьдесят, наводить по среднему щиту! — крикнули с мостика.

— Есть! — удовлетворенно ответил Саша.

Синие нити прицела совместились с самой серединой щита, казавшегося не больше листка клетчатой серой бумаги из блокнота и так же расквадраченного шивками парусины.

Обернувшись назад, Саша встретился глазами со старшим артиллеристом, выглядывавшим из-за обвеса мостика. Мерничий был явно обеспокоен.

«А вот и не пожалел, что не снял!» — самоуверенно подумал Саша, увидев свое отражение на бронзовой коробке затвора: в желтоватой, полированной до зеркального блеска, плоскости металла лицо его выглядело старше, мужественнее.

— У орудия! Как видимость? — спросил с мостика незнакомый голос, по интонациям, несомненно, тоже принадлежащий начальнику.

— Видимость преотличная! — думая все об одном и том же, доложил Саша, и Мерничий, в эту минуту тоже занятый одними мыслями с ним, недовольно посмотрел на него сверху.

Конечно, экзамен был не ему, хозяину артиллерии всего корабля, а только лишь одному из его подчиненных, но почему-то очень волновался и сам лейтенант.

— Итак, приступили-с,— сказал Егор Александрович и снова запустил остановленный было секундомер.

Стрельба пошла своим чередом. Дальномерщик дал расстояние до щитов, и только каких-нибудь десять секунд «поколдовал» Мерничий с карандашом в руках над картонным альбомчиком таблицы.

Егор Александрович на минуту отвел взгляд от наводчика и задержал его на старшем артиллеристе, бормочущем быстрым, озабоченным шопотом:

— Ветер... плюс... двенадцать градусов... минус...

В глазах старого практика-артиллериста промелькнуло выражение суровой ласки; все они до единого, теперь управляющие огнем башен, кораблей и целых соединений, прошли

через его руки и его кабинет УАО, и он помнил их всех еще в новом, необмятом обмундировании.

— Прицел восемь, целик пять! — раздельно крикнул Мерничий, пряча таблицы в карман, и опять вздохнул: как же ему нехватало покойного Андрея, вот бы сейчас они вместе и порадовали старика!..

Короткое слаженное движение возникло возле орудия — оно поднялось вверх, повело влево, вправо и замерло, ожидая команды.

— Первое! Ревун! — ровно сказал Мерничий.

Гортанно засипел ревун, и звук выстрела негромко и гулко шелкнул.

Мерничий, волнуясь, и больше всего боясь, что волнение его заметят на мостике, впившись в бинокль, разыскивал у щита белый всплеск.

Всплеска не было. Чувствуя, что он мучительно краснеет и что искать уже больше нечего, потому что столб, видимо, осел где-то далеко вправо или влево, а может быть, даже далеко за горизонтом, Фома Фомич опустил бинокль и наткнулся глазами на прищуренные глаза Хомякова.

Старик улыбался.

— Вот они, молодые-то, хе-хе-хе. Нег всплеска-то, товарищ лейтенант? Я тоже было, как вы, а они прямо в цель. Его только щитком загородило.

Мерничий снова поднял бинокль к глазам и почти в центре среднего щита увидел черное круглое, кажущееся не больше дробинки, пятнышко.

Незаметно переведя дух и придав лицу выражение официальности, он опустил бинокль и, козырнув, четко спросил инспектирующего:

— Разрешите продолжать стрельбу в соответствии с инструкцией, товарищ лейтенант?

— Безусловно, — сказал Егор Александрович и тоже козырнул.

И тогда Мерничий, всегда, даже и на мостике, говоривший вполголоса и команды отдававший ровно и без особого азарта,

крикнул так, что дивизионный штурман, бывший поблизости, схватил: я за левое ухо.

— Орудие номер один! Поражение! Ревун! — и тут же бросив к глазам бинокль, стал считать появляющиеся почти точно на середине шигга пробонны.

Насчитав пять черных пробонн и все еще не опуская бинокля, любуясь почти виртуозной точностью рук Александра Иванова, он скомандовал «Дробь!» и сказал безразлично:

— Ну, вот, я так и думал. Преемственность это, знаете ли... — и не докончил фразы.

— Очень чисто бьет, — ласково сказал Егор Александрович и по-старинке добавил: — добрый пушкарек, — но тут же поправился, — то-есть комендор на уровне своего орудия и своей фамилии хочу я сказать. Разрешите глянуть вблизи на такого молодого?.. Нет, нет, зачем же звать... Именно на его рабочем месте.

Саша в ожидании следующей команды сидел на своем железном сиденье все еще в позе полной готовности; только его бескозырка съехала с потного лба на затылок и из-под ленты выбились уже начавшие отрастать и курчавиться волосы.

— Ну, однофамилец, не подвели свою пушечку... — хитро прищурясь, начал было Хомяков, но Мерничий, счастливо засмеявшись, взял его сзади за локоть.

— Дорогой Егор Александрович, простите, обманул я вас: никакой он не однофамилец, а родной, прямо-таки единоутробный, как говорится, брат покойного Андрея Иванова. Мне и матушка их все время пишет с того самого дня, как он к нам на корабль пришел. А однофамильца он придумал, еще не зная, будет ли он достоин брата или нет... Ей-богу... — счастливо смеясь, говорил лейтенант Мерничий, и соскочивший с сиденья первого наводчика комендор Иванов Александр к каждому его слову прибавлял обрадованным шопотом:

— Точно. Как в воду. Безусловно. Так. — И глазами, полными восторга, смотрел на командира своей боевой части, который, оказывается, все давно понял...

Но всех хитрее оказался старик Хомяков. Прищурясь и попеременно глядя то на Мерничего, то на Сашу, он сказал:

— И думаете, что уже самого бога за бороду держите и умнее вас уж и на свете никого нет? Ах, вы, хитрецы, хитрецы! Ну, а скажите, пожалуйста, с какой, спрашивается, радости я начал инспектирование с вас, а не с первого дивизиона, как положено по порядку? Вот то-то и оно! Как же было не посмотреть братца такого человека, как покойный Андрюша?!

А. ЯКОВЛЕВ

СТАРШИНА КРЮКОВ

Смуглое, чуть скуластое лицо старшины Крюкова выражало радость. Крупные зубы блестели из-под рыжеватых усов. Он кивком головы показал на темный с еле заметными издаиска рогульками шар вытраленной мины, спокойно качивающейся на волнах.

— Ну и денек! Такого и в войну не было,— сказал он, вытирая руки промасленной ветошью.

Шлюпка осторожно подошла к мине, минеры надели на нее подрывной патрон, подожгли бикфордов шнур и стали удаляться. Им надо было успеть отойти на три кабельтова — расстояние, на котором взрыв мины безопасен.

Зеленый пенистый столб воды с грохотом взлетел в воздух.

На тралении Крюков чувствовал себя отлично. Мичман Родионов, старый, испытанный моряк, говорил, что Крюков природный минер, и, когда надо совершить что-нибудь героическое, на это всегда вызывался он.

Крюкову эта работа казалась обыденной, не такой, какой она была во время войны, когда часами приходилось бороздить море, отбиваясь от пикирующих немецких самолетов. И он низким, хрипатым голосом убеждал молодого матроса Назарова:

— Сейчас одна благодать. Работаеть, как на пляже, живой отдых. Ни тебе бомбы, ни снаряда — пляж, да и только.

Назаров с сомнением поглядывал на Крюкова: хороший пляж! Ни в какое сравнение не шло это с трудным и опасным делом, которым они занимались изо дня в день. Назаров вспомнил, как однажды, в свежую погоду, трал подсек две мины, и в ту минуту, когда корабль ложился на новый галс, вдруг всплыла третья и пошла под киль катера-тральщика.

— Мина под днищем! — закричал кто-то, и все замерли.

Назаров почувствовал, как липкий холодок пополз по телу. «Сейчас взорвемся...» — подумал он, закрыл глаза и вдруг услышал спокойный голос Крюкова:

— Прошла, прошла, теперь не уйдет...

Назаров увидел коричневый ржавый шар мины с желтоватой лысинкой наверху, покачивающийся совсем близко от кормы. Потом ее расстреляли с катера.

И эту работу старшина 2 статьи Крюков называл «пляжем»! Не шутит ли он? Назаров внимательно взглянул на бронзовое, с ранними морщинками лицо минера. Оно было бесмятежно и даже выражало удовольствие. Старшина весело щурил серые глаза. А ведь только что он на шлюпке — при порядочной волне — взорвал одну за другой две мины.

Когда шлюпка, сильно покачиваясь на волнах, подходила к мине, Назарову казалось, что вот-вот она стукнется о круглую поверхность страшного снаряда, и от шлюпки ничего не останется. Но ни раз не бывало, чтобы у Крюкова, или у старшего матроса Сопкина, или у старшины Зотова случались неприятности. Это были люди умелые, точные, уверенные в себе. Крюкова Назаров считал своим главным учителем. Дело в том, что как только он пришел из учебного отряда на корабль, «подрывание» не давалось ему. Движения были прерывистые, неточные, колыхающийся на волне буюк казался скользким, и было очень трудно набрасывать на него удавку подрывного патрона. Горячий Сопкин отругал Назарова. Случившийся тут же Крюков задумчиво поглядел на молодого матроса оценивающим взглядом и медленно сказал:

— Паренек мне нравится. Из него первый минер выйдет. Возьму его к себе в шлюпку гребцом.

Когда они в первый раз отправились вместе подрывать мину, Назаров сидел на веслах и с трудом дышал от волнения. Старшина повернулся к нему и сказал:

— Волнуешься ты, Василий, напрасно. Не ты мины, а мина тебя боится. Она вся в твоей власти: ты ей смерть несеешь, а она тебе ничего не сделает. Гроби ровнее и за мной следи!

И он так спокойно встал, повернувшись к Назарову спиной, готовя подрывной патрон, так легко и уверенно ухватился рукой за рым мины, а другой стал привязывать к нему патрон, что Назаров смотрел, как зачарованный. Когда был зажжен бикфордов шнур, Крюков неторопливо оттолкнулся от мины, сел на банку и приказал:

— Гроби! Видишь, до чего все просто.

Назаров греб быстро, судорожными движениями рвал весла из воды.

— Ну, зачем так? — сказал старшина. — Ты запомни: все надо делать исправно и точно, но лишнего — ничего. Гроби ровнее!

И он, точно на шлюпочном ученике, стал командовать, заставляя Назарова умерять частые движения. И подчиняясь этому сильному человеку, его опыту и воле, Назаров остыл, успокоился, стал грести ровнее.

Между старшиной и учеником зародилась дружба. Крюков охотно беседовал с Назаровым, они вместе перекуривали, играли в шашки, ходили на берег. И глядя тогда на простодушное лицо минера, слыша его по-детски залихватый смех, не мог себе Назаров представить другого Крюкова — своего учителя и начальника. Старшина был подтянут, строг и немолчим даже в мелочах: когда Назаров являлся к нему по службе, он следил за его выправкой, заставлял докладывать по уставу. И как-то раз, заметив недоумение во взгляде Назарова, объяснил:

— Я и сам таким был, как ты. Хваткий был матрос, но кой на что поплевывать любил. Был у нас на корабле боцма-

ном мичман Костылев — двадцать два года плавал; он мне говорил: «Смотри, Крюков, душа у тебя соколя и руки само-бытные. Все тебе дается, а только озороват. Помни: дисциплине не научишься — ничему не научишься. Споткнешься когда-нибудь».

— Споткнулись, товарищ старшина? — с любопытством спросил Назаров. Крюков утвердительно кивнул головой.

— Здорово споткнулся. Говорить об этом теперь не стоит, а только чересчур я на удастьство свое понадеялся, а точности нехватало — не дотянул. Меня по-настоящему под суд надо было отдать. Позвал меня Григорий Кондратыч, боцман, к себе в каюту, прикрыл двери и спрашивает: «Ну, как нам теперь с тобой быть? Говорил тебе, что озороват. Вот и до-рвался. Что теперь делать будем? Будь ты по-настоящему дисциплинированный моряк, не было бы этого с тобой. При-знаешь?» — «Признаю, Григорий Кондратыч, больше такого никогда не будет». Поглядел он на меня и говорит: «Ну, иди. С командиром потолкую». Вот с тех пор, — закончил стар-шина, — я на всю жизнь знаю: мелочей не бывает, все важно. А без дисциплины до этого не дойдешь..

На следующий день ветер усилился. Волны крутыми пен-стыми гребнями хлестали на палубу, раскачивали корабль. Ход уменьшили наполовину: волны могли оборвать трал. После полудня командир приказал выбрать трал. И скоро после того, как бун, постепенно сближаясь, сошлись за кор-мой и были, наконец, выбраны, вахтенный магрос громко за-кричал:

— Справа по траверзу мина...

Перержавел ли минреп и волной сорвало мину, но сна, сильно раскачиваясь, плыла по морю — темная, ро-гатая.

С катера за ней молча следили. Все знали, что ее нельзя оставить, как нельзя оставить на свободе сбежавшего из клетки хищного зверя. Спустить шлюпку и подойти к ней к мине нечего было и думать, расстрелять ее с корабля — издали не попадешь, а близко подорвешь корабль.

Тогда раздался спокойный голос Крюкова с какой-то особенной интонацией,— Назаров сначала не понял значения его слов:

— Закурить придется.

Мичман Родионов тихо подтвердил:

— Да, Крюков, придется тебе покурить.

Только тогда понял Назаров, какое страшное курение предстояло старшине. Он остался в одних трусах. к нему привязали подрывной патрон с бикфордовым шнуром, и он подошел к борту. Родионов дал ему папиросу и зажег спичку.

Корабль осторожно пробирался к mine. Крюков глубоко затянулся и так, с горящей папиросой, не прыгнул, а сполз в воду.

Он плыл как-то странно, видимо, прятал папиросу от волны. Вдруг с Крюковым что-то случилось. Он заметался и повернул обратно; ему бросили конец и он вскопчал на палубу.

— Другую закурим,— сказал старшина,— потухла.

И через минуту он был опять в море. И опять все напряженно следили за ним. Вот он уже возле мины, вот ухватился за рым, и Назаров невольно вскрикнул, увидев голову старшины у самых копаков мины.

..Когда Крюков подплыл к кораблю и его вытащили, Родионов, стоящий с часами, скомандовал самый полный ход. И все же катер сильно встряхнуло от взрывной волны. Старшина в кубрике вытирался полотенцем и, увидав восторженные глаза Назарова, сердито сказал:

— Чего не видал? Простое дело — сам то же делать будешь...

«Неужели буду?» — думал часто Назаров, когда грёб на шлюпке к mine, когда удерживал шлюпку, чтобы не стукнулась она о мину, и смотрел, как, наклонившись вперед, Крюков протягивал длинные, цепкие руки и с удивительной ловкостью брался за рога мины и набрасывал на них подрывной патрон. Ошибаться было нельзя, и Крюков, как и другие опытные минеры, никогда не ошибался. Он так искренне

считал себя обычным, рядовым минером, что в конце концов и Назаров поверил в это. Он учился у старшины, учился его уменню, дисциплинированности и постоянной готовности идти на самое трудное дело.

И все же, когда бывалые старшины и матросы с колодками орденов и медалей на груди, сидя на пирсе в часы отдыха, курили и разговаривали, Назаров, хоть и привыкший к ним, испытывал особое чувство: очень многое пронесли эти люди в своих сердцах за годы войны. Они дрались под Севастополем, Одессой и Новороссийском, прорывались к вражьи́м берегам сквозь ливень снарядов, высаживались на берег, тралили под огнем. И то, что они остались такими же простыми, как и он сам, молодой матрос, после войны пришедший на корабль, еще больше влекло к ним Назарова. Он, сам того не замечая, старался равняться по ним и теперь уже не волновался, когда вместе с Крюковым отправлялся на шлюпке подрывать мины.

...Волна была маленькая, и Назаров размахистыми взмахами весел гнал шлюпку. Потом затабил, удерживая шлюпку на веслах, зорко следя за приближающейся миной.

Все шло, как обычно. Крюков, согнувшись на напружиненных ногах, приказал Назарову зажечь шнур. Назаров зажег и стал грести. Корабль был совсем близко и медленно двигался задним ходом навстречу шлюпке. И вдруг железный скрежет донесся из-под киля, корабль вздрогнул и остановился. На палубе уже бегали люди, выскочил наверх старшина мотористов и подбежал к командиру. И еще прежде, чем они подошли к борту, Крюков наклонился вперед, и глухое ворчанье вырвалось у него.

— Трал намотало на винт, — сказал старшина, — корабль потерял ход. — И он резко оглянулся на мину, на которой горел шнур.

Не более кабельтова было до нее — корабль и шлюпка были в зоне взрыва. На мину смотрели и с корабля... Сколько времени прошло с тех пор, когда зажегся шнур? Он го-

рит шесть минут. Половина этого срока, или даже несколько больше, уже истекла. Значит, они поспеют к mine в самый момент, когда сработает патрон. Крюков припал к башке.

— Рви,— тихо сказал он,— рви во всю силу, Назаров. Назад, к mine... Ну!

Вся кровь, показалось Назарову, отхлынула у него от сердца. Тонкий звон наполнил уши. Он видел перед собой глаза старшины и, ничего не сознавая, откидываясь всем телом назад, рвал веслами воду.

— Ну,— торопил Крюков,— чаще, чаще! — и он двигался всем телом в такт движениям Назарова.— Давай же, давай, давай!

Мина была близко. Нестерпимо захотелось Назарову оглянуться, поглядеть на горящий шнур. Наверное, уже догорает. Остались считанные секунды, и взрыв грохнет сейчас. Но он греб, греб, и все его существо напряглось в одном великом усилии, в одном порыве. Страх не было, было лишь такое ощущение, будто летел он стремглав с очень высокой, крутой горы и не мог остановиться. И, как при падении, он закрыл глаза и услышал голос:

— Сто-о-п!.. Табань!..

С усилием открыл Назаров глаза, посмотрел. Мина была уже тут, и Крюков на ходу ухватил ее вытянутой рукой, не давая шляпке стукнуться об нее (шляпка не сразу остановилась), и другой рукой что-то сделал таким легким и быстрым движением, что Назаров не успел уловить его.

— Давай осторожно назад,— услышал он и взглянул на Крюкова.

Старшина держал в руке догорающий шнур и задумчиво разглядывал его.

— Секунд пять еще бы погорел...— сказал он обычным своим тоном.— Придется нам с тобой, Василий, еще раз эту мину подрывать.

КИРИЛЛ ЛЕВИН

ВЕШКА

...И вот все как будто позади, самые трудные испытания миновали, и корабль, рассекая носом взлохмаченную волну, идет в порт. Низко над морем плывут тяжелые тучи, вода иногда заплескивает через борт, холодный ветер хлещет в лицо.

Антонов чувствовал себя превосходно. Он снисходительно поглядывал на Стрельцова, который пришел на эскадренный миноносцеу месяцем позже, и думал, что, пожалуй, его, Антонова, уже нельзя считать молодым матросом: у него за плечами три выхода в море, три, да еще каких — со штормами, с боевыми стрельбами. По сравнению со Стрельцовым, который в первый раз выходил в море, он чувствовал себя бывалым моряком.

Для Антонова, прослужившего несколько месяцев на миноносце, наступило время, когда корабль становится родным домом. Он радовался этому новому, прекрасному чувству спокойствия и уверенности, которого еще не было у Стрельцова, морщившегося от ледяных брызг.

И верно, чем он не старый матрос? Лицо обветрено, его уже не «травит» при свежей погоде. Правда, ему не пришлось воевать. На флот он пришел после окончания войны и, слушая рассказы старшин, отмеченных боевыми наградами, не раз вздыхал, почему он не родился хоть годика на два пораньше.

— К вечеру будем в базе, — произнес Антонов, и Стрельцов закивал головой: он был рад возвращению.

В эту минуту корабль как будто что-то толкнуло, плавные обороты винта нарушились, заскрежетало под корпусом, и ход сразу замедлился. Машинны застопорили.

Капитан 3 ранга Васильев, сухощавый офицер небольшого роста, обычным тоном отдавал команду... Корабль шел еще по инерции, волна с шипением раздавалась перед ним. На мостик забежал командир БЧ-V — вы окий офицер в рабочей кожаной куртке. Он что-то торопливо доложил командиру, и тот

кивнул ему. Васильев был спокоен, точно все шло по намеченному им плану.

Командир БЧ-V уже бежал вниз к себе. Старшина машинной группы Насечкин появился на палубе. Это был рослый, плечистый человек, голубоглазый, русский — помор из-под Архангельска. После войны он не хотел покидать корабль и остался на сверхсрочную службу. Насечкин был одним из тех русских людей, про которых говорят: золотые руки. У него был изумительный глаз — точный в расчете, не допускавший ни малейшей ошибки. Он первый почувствовал толчок в машинах, и его чуткое ухо сразу определило: что-то постороннее попало в винт...

Насечкин так и доложил инженер-капитан-лейтенанту Жернову, когда тот прибежал в машинное отделение.

— Разрешите под корму спуститься, — обратился к Жернову старшина. — На месте все и выясним.

День был холодный. Когда забортная вода хлестала на палубу, Антонов вздрагивал, — ледяная! Он смотрел, как снаряжается Насечкин. Старшина надел толстые ватные штаны, шерстяную фуфайку. Взял в руки легководазную маску, неторопливо проверил, стал надевать. Когда все было готово, он подвязал к поясу конец и уверенно пошел к борту. Лишенный хода корабль покачивался на волне, вода темнела, ударяясь в борта.

Васильев подошел к Насечкину, рукой провел по его плечу. Насечкин кивнул головой, перелез через леер, начал спускаться. Антонов смотрел и не мог оторваться. Кто-то тихо толкнул его. Стрельцов взволнованно шепнул:

— Как домой полез к себе. Не боится...

И Антонов, который и сам боялся за старшину (при четырех баллах да в такую стынь лезть в воду!), вдруг решил: надо показать Стрельцову, что ничего особенного тут не происходит, просто идут обычные морские будни и каждый на эскадренном миноносце делает свое дело.

Взгляд его упал на зачехленные орудия главного калибра. Он увидел на их длинных стволах белые звездочки — итоги грозной боевой работы за сорок с лишним месяцев войны.

Сколько снарядов послали эти орудия врагу, сколько трудных испытаний вынесли люди на корабле!

Капитан 3 ранга стоял совсем близко, и Антонов с особым чувством, в котором были и гордость, и любовь, и уважение, поглядел на лицо командира. Оно было худошавым, бронзового оттенка, морщины тесно лежали под глазами и по углам рта, и все же Антонов с удивлением подумал, что командир корабля молод.

— Простое дело, — понизив голос, сказал Антонов Стрельцову, — каждый из нас, если нужно, это сделает.

Васильев нахмурился, он зорко оглядел широкую полосу фарватера, поднял к глазам бинокль.

— Вперед смотрящие проглядели, — отрывисто сказал он, обращаясь к вахтенному офицеру.

— На поверхности ничего не было видно, товарищ капитан 3 ранга, — в лице лейтенанта Корнеева было выражение виновности, хотя он и сам не знал, в чем состоит его вина, — я не сводил глаз — ничего не было подозрительного.

Васильев не ответил. На воде, там, где исчез Насечкин, вскипали белые пузырьки. Командир БЧ-V, мичман и двое матросов напряженно следили за сигналом, лица у них были суровы. Всем казалось, что время тянется нестерпимо долго. «Не случилось ли с ним чего?» — мучительно подумал Антонов. В эту минуту мичман повернулся к командиру и, почему-то шопотом, произнес:

— Возвращается...

Пузырьки закипели сильнее, и на поверхности показалась голова Насечкина. Он, поднимаясь по трапу, снял маску и, тяжело дыша, доложил, что на винт наматался трос.

— Откуда взялся трос? — жестко спросил Васильев.

— Не иначе, как от вешки, — старшина показал рукой на вешки, обозначающие фарватер. — Штормом, видно, сорвало шест, а топляк с тросом принесло на фарватер. На винт и наматало.

Насечкин чуть поежился — ледяная вода ручейками стекала с его фуфайки и брюк — и сказал:

— Разрешите, товарищ капитан 3 ранга, нужные инстру-

менты захватить... Его, собаку, так намотало, что придется рубить.

Тон его был прост, точно он говорил о пустячке, какие по нескольку раз в день случаются на работе. Васильев внимательно оглядел его. В синих глазах командира блеснула теплая искорка.

— А не замерз, Насечкин? — спросил он. — Другого, может быть, послать?

— Да что вы, товарищ капитан 3 ранга, — весело и чуть обидчиво ответил Насечкин. — Не впервые...

Глаза их встретились. Васильев смотрел пристально. Старшина принял этот взгляд. Как это бывает между людьми, тесно связанными между собой одним делом, которому служат, — самое главное они сказали один другому не словами, а взглядами.

«Мало ли мы с вами, товарищ капитан 3 ранга, видели? — говорили глаза Насечкина. — А помните, в сорок третьем, когда осколками у нас руль заклинило, как мы его под огнем исправили? А как пластырь подводили? На нас два миноносца наседали, а мы чинили. И все сделали. Я тогда еще старшим матросом был, а вы — капитан-лейтенантом... А еще в сорок четвертом было прямое попадание в котельную. Пар живьем человека варит, не выдержишь, — и вот все же живы, пар перекрыли, машину выходили, и плаваем мы с вами на нашем «Бурном», и не один еще год проплаваем...»

«Я тебя знаю, друг, — отвечал взгляд Васильева. — Вот потому так хорошо и воевали мы, что есть у нас на корабле такие, как ты. Ты пар, когда магистраль раздробило, голыми руками перекрыл, а потом целый месяц ходил забинтованный, а из строя все же не вышел — так с перевязанными руками и работал. Иди, друг, выполняй...»

И к этим невысказанным словам командир корабля кратко добавил:

— Делайте, Насечкин, и помните — времени у нас мало.

Насечкину принесли маленькую кувалду, зубило. Он торопливо приладил свое снаряжение, и его стали спускать за борт. Темная бурлящая вода быстро сомкнулась над его

головой, и Антонов невольно вздрогнул, ощутив на своем лице се злые ледяные брызги.

Он тревожно поглядел на офицеров, на бывалых матросов и старшин — здесь были и те, кто воевал вместе с Насечкиным, — и заметил: все они были спокойны и деловиты — видно, ни одному из них не приходила в голову мысль, что Насечкин делает нечто из ряда вон выходящее. Нет, идет обычная работа, во время которой может случиться всякая неожиданность, и устранение этой неожиданности, как бы ни было это трудно или даже опасно, входит в обязанности каждого из них.

Антонов глядел на сильные фигуры в бушлатах, с развернутыми плечами, с уверенными движениями, неторопливых, крепких людей, непоколебимых в своей силе и верности родине — и вдруг простая мысль возникла у молодого матроса. Он понял, что ему еще много нехватает для того, чтобы считать себя бывалым моряком. Когда привыкнешь каждодневно выполнять сложные боевые задания, испытания настоящего боя не покажутся трудными. Надо стать таким же, как они, — они, которые так сжились со своим кораблем, так берегут его, так изучили, что выведут из любой опасности. Это та суровая школа, откуда выходят такие люди, как Насечкин, как мичман Красных...

...Машинисты, в числе которых был и Антонов, кончали свою вахту. Насечкин по обыкновению медленно и методично прошел по всему отделению, останавливаясь возле каждого матроса. Он остановился и около Антонова, внимательно оглядел его и привычной рукой, на которой блестящая, точно лакированная полоска кожи указывала следы старых ожогов, поправил бескозырку. Насечкин улыбнулся молодому матросу, который был приятен ему исполнительностью и любознательностью.

— Шабаш, — сказал он, — сдаем вахту.

...Перед тем как лечь, Антонов поднялся на бак. Ночь была ясная. Полярная звезда переливалась голубоватыми лучами, волны с тихим шелестом бились о борта.

На востоке, куда держал курс корабль, было еще темно, и только с трудом различался далеко, очень далеко огонек, приветно горевший в ночи.

КИРИЛЛ ЛЕВИН
НА ГРУНТЕ

Матрос Акулов считал себя опытным подводником: он уже третий месяц ходил на своей «щуке», не один раз погружался, участвовал в атаках и даже леживал на грунте. Чем не подводник!

Лодка была боевая — она прошла всю войну, и краткая история ее сражений и побед была хорошо известна не только тем, кто проделал войну на корабле, но и молодым матросам, которые пришли сюда недавно... День был солнечный, ясный, и золотые зайчики прыгали в синем спокойном море. В другое время Акулов безмятежно наслаждался бы такой погодой, сейчас он был недоволен.

«Теперь бы волнение балла на три, да волна — в самый бы раз», — подумал Акулов. Он огляделся. У основания рубки сидела маленькая группа; курили и разговаривали. Акулов завистливо посмотрел, но подойти не решился. Тут были ветераны корабля — старшина моторной группы Алексей Шестест, когда-то принимавший новенький корабль и не покидавший его до сегодняшнего дня, старшина электриков Иван Привалов, лучший специалист своего дела во всем дивизионе, Никита Громов, старшина артиллерийской группы, и еще два старших матроса — все украшенные ленточками орденов и медалей, все воевавшие на том самом корабле, который теперь так мирно шел по морю. Привалов показывал рукой на север и что-то говорил. Остальные слушали. Громов густым своим голосом перебил Привалова.

— Здесь, здесь и было, — с досадой сказал он. — Шли под перископом, а когда увидели, что транспорт один идет, — переход-то короткий, он и надеялся проскочить, — всплыли, и

командир приказал потопить немца артиллерийским огнем. А тут вдруг «Юнкерсы». Едва успели погрузиться.

— И немец с нами,— со смехом добавил Шелест.— Все же успел ты, Никита, доканать его.

— Не оставлять же его,— ворчливо ответил Громов,— а торпедировать времени не было, в последнюю секунду и потопил снарядом.

Они некоторое время курили молча. Лодка тихо скользила по морю. Командир лодки капитан 3 ранга Щеголев и еще два офицера стояли на мостике и о чем-то оживленно говорили. Время от времени командир поднимал к глазам бинокль и внимательно вглядывался в даль.

...И Акулов увидел на горизонте черную точку. Она росла чрезвычайно медленно.

Сигнал боевой тревоги и затем стремительное очищение палубы, команда к погружению и само погружение последовали с такой быстротой, что Акулов был ошеломлен. Он видел, как бывалые старшины и матросы с бешеной быстротой спускались в люк, и суровое выражение их лиц, отточенные и в то же время молниеносные по быстроте движения заставили сильнее забиться его сердце.

«А может быть, и в самом деле случилось что-то опасное и грозное, может быть, и впрямь опасность грозит кораблю?»

Он делал свое дело, как и другие, и когда уже был в центральном отсеке и бросился оттуда на свой пост в моторное отделение, когда с той же отчетливой, почти непостижимой быстротой была задраена крышка выходного люка и корабль, приняв водяной балласт, опускался в глубь моря, когда Акулов широко и облегченно вздохнул, уверенный, что все выполнено, он вдруг ощутил глухой, но сильный удар, и в то же мгновение лодка качнулась, дрогнула и быстрее пошла вниз. Он невольно ухватился за переборку и взглянул на своего старшину Шелеста.

— Глубинная бомба,— пояснил Шелест.— Что, ни разу не приходилось слышать? погоди — еще услышишь...

Он точно напроорочил: второй взрыв чуть отдаленнее первого, но все же достаточно сильный опять качнул лодку.

Матросы работали на своих боевых постах. Внезапно погас свет. Шелест приказал включить аварийное освещение. И эта минута черной тьмы, и грозная, подводная тишина, и сознание, что над ним сомкнулась тяжелая водная толща, и неясная какая-то тревога — все это надолго запомнилось Акулову.

Лодка все погружалась, тускло светили аварийные лампы, какой-то неприятный скрежет донесся с правого борта, и у Акулова вдруг мелькнула мысль: с кораблем что-то случилось. Он жадно вглядывался в лицо Шелеста и старшего матроса Рогова — он верил их опытности, но лица их были суровы и сосредоточены, как всегда, когда эти люди были на своих постах. Блеснул яркий луч фонарика, в отсек быстро вошел Щеголев. Командир хмуро огляделся. Шелест подошел к нему с рапортом, и Щеголев, кивнув головой, отрывисто сказал:

— Выяснить все возможные повреждения. Наверху нас стерегут. Каждый неосторожный стук может быть улышан противником.

Киль лодки зашуршал о грунт. Толчок был слабый, почти незаметный, но Акулов с особой остротой ощутил его. Все отсеки были задраены, на корабле царствовала особая, напряженная тишина, когда каждый звук кажется предвестником удара, который может обрушиться на лодку.

Акулов знал, что войны нет, что действительное нападение на их корабль невозможно, что глубинная бомба, брошенная своим же охотником, разорвалась на безопасном расстоянии, но он не мог отделаться от какого-то грозного ощущения опасности: вот сейчас опять разорвется, уже близко, еще одна глубинная бомба, дрогнет корабль, и случится то, чего не предвидели ни командир, ни другие офицеры, ни мудрый, опытный старшина Шелест..

Тянулись долгие, томительные минуты. Было приказано не ходить, не шуметь. Акулову показалось, что прошло уже несколько часов. Он дышал с трудом, воздух будто стал тяжелым.

«Да нет, не может быть,— подумал он,— с чего бы это воздуху нехватать? Ведь мы же на учении...»

И, точно подслушав его мысли, Шелест негромко сказа́л:
— Воздух экономьте, ребята. Еще не знаем, сколько нам придется пролежать на грунте. Не скоро еще, может, всплывем...

«Как не скоро? — подумал Акулов. — А если воздуху нехватит? Как же можно? Или он так говорит?»

Главстаршина похоже не шутил. Лицо у него было хмурое. В серых глазах — холодный блеск.

Война, настоящая война! И опасность, как на войне, — каждое неосторожное движение может повлечь атаку противника, новый удар глубинной бомбы.

В эту минуту молодой матрос Синюхин, белобрысый паренек, одновременно с Акуловым пришедший на корабль, тихо сказал:

— Вроде дышать трудно, товарищ главстаршина. Долго еще нам на грунте оставаться?

Шелест ответил не сразу. Он внимательно, точно оцениваяще оглядел Синюхина — всего, с ног до головы.

— В сорок третьем году пришлось еще дольше лежать, — медленно сказал Шелест. — И сейчас воздух, которым мы дышим, по сравнению с тем, что тогда был, сладкий, как патока. Мы тогда рты, как рыбы на песке, открывали... Однако никто не спрашивал, скоро ли всплывем. Вот какие дела бывают на корабле. И ничего, простым счетом, ничего.

Синюхин сконфуженно молчал, потом оглянулся на товарищей. Шелест тихо возился у моторов, двигался так легко и уверенно, что, глядя на эту сильную, ладную фигуру, Акулов вдруг подумал, что со старшиной не пропадешь, зря он и Синюхин тревожатся. Он придвинулся к Синюхину, улыбнулся ему, и тот радостно, чуть искательно закивал ему головой.

— С непривычки, — прошептал Акулов на ухо товарищу, — а так ничего...

— Конечно, ничего, — тоже шопотом ответил Синюхин. — Я, понимаешь...

Он не успел досказать — старшина бросился к телефону. Он что-то ответил в трубку и приказал отдрать дверь.

В отсек неторопливо вошел командир, внимательно оглядел людей и отдал распоряжения к всплытию.

— Ну что, — спросил он Синюхина, может быть, потому, что у матроса было бледное лицо, — как чувствуете себя?

— Отлично, товарищ капитан 3 ранга.

Щеголев подошел к Шелесту, что-то сказал ему. Старшина вытянулся, ответил:

— Есть, будет выполнено...

«Ну вот, все кончилось. — торопливо подумал Акулов. — Сколько все же мы прележали на грунте? Часа три или больше?»

И, слушая слова команды, радостно бросился к своему месту — да, да, как хорошо, что все кончилось, что сейчас они всплывут.

И тут произошло нечто неожиданное. Уже была дана команда продуть цистерны, уже лодка подымалась кверху, — и вдруг Акулов почувствовал, что палуба уходит из-под его ног. Он сначала не понял, что происходит, и инстинктивно ухватился за поручни у мотора. Лодка погружалась с дифферентом на нос. Взглянув на Шелеста, Акулов подумал, что сейчас корабль станет на попа и перевернется вверх килем, потухнет свет, станут моторы... А старшина, что делает старшина?

— Заклинило горизонтальные рули, — громко сказал Шелест, — вот что наделала глубинная бомба.

Но все кругом были спокойны, каждый стоял на своем посту, и только у Синюхина было как бы удивленное лицо.

«Если заклинило горизонтальные рули, а у лодки дифферент на нос, да еще такой сильный, то как же выпрямить корабль, — думал Акулов, — как?»

Он глядел на Шелеста, на товарищей. Что же это такое? Старший матрос Рогов, комсорг лодки, стоявший у моторов, встретил взгляд Акулова и улыбнулся ему.

Рогов был первым учителем Акулова, когда он пришел на корабль. «Ты комсомолец? — спросил он его в первый день прибытия. — Вот хорошо, будем работать вместе...»

И они работали. Рогов учил показом. «Надо тебе знать,— говорил он,— что на лодке не может случиться ничего такого, чего бы мы сами не могли при желании и умении исправить. Вот ты и учишься этому. Родина дала нам этот корабль, и мы должны беречь его, как мать, как самое дорогое и святое, что есть у нас».

Родина, родина! Точно радостнее и спокойнее стало на душе. Здесь стоят люди, которые вели этот корабль в бой, готовы были умереть для свободы той большой прекрасной страны, что легла бескрайними просторами от Мурманска до Севастополя, от Ленинграда до Владивостока. У каждого из них есть в этой стране свой родной дом, любимые люди, и так хорошо думать, что много прекрасного впереди, что опять идет великая работа созидания, что встают новые заводы из развалин, поля колосятся новым урожаем и вся страна кажется одним большим домом, который строит единая братская семья.

Лодка как бы застыла в наклонном положении и потом начала медленно выпрямляться. На ровном киле она поднялась на поверхность. Акулов освобожденно вздохнул. Он не знал, как был выпрямлен корабль.

— Чего проще,— сказал Рогов,— регулировкой водяного балласта все сделали. Раз горизонтальные рули заклинило, балластом выпрямили дифферент. Такое может всегда случиться.

Двери отсеков отдраили. Свежий воздух из открытого люка хлынул в помещения корабля. Шелест, Рогов и еще два матроса по приказанию командира исправляли «заклинившиеся» рули. И глядя на то, как старательно, точно и четко они работали, Акулов понял: мирная учеба для этих людей была той же войной. Никакого послабления для них быть не могло, так как каждое послабление было лазейкой для врага, могло грозить бедой родному кораблю.

Синее море широко расстилось перед ним, и он жадно вглядывался туда, где чудились ему очертания Севастополя, арка и колонны Графской пристани.

...Незабываемое впечатление произвел на него героический

город, когда увидел он его в первый раз. Хорошо сказал как-то на комсомольском собрании секретарь Железнов:

— Пускай каждый из вас пройдет по нашему городу, побывает в Корабельной слободке, на Северной стороне, в окрестностях города. Там каждый шаг напомнит вам, как дрались севастопольцы за свой город, за свою родину. Вот и надо равняться по ним, быть такими, как они...

И, вспомнив роботы и волнение, которые он испытывал в нынешний день, Акулов подумал, что в сущности все это только обычные будни повседневной учебы, это та школа, которая должна подготовить его, чтобы и он мог стать таким, какими были его старшие товарищи, испытанные огнем войны.

Они уже закончили работу и кружком сидели на палубе у самого леера, весело разговаривали и курили. Рогов увидел Акулова и крикнул ему:

— Идите сюда, покурим, поговорим...

А Щелест добродушно спросил:

— Ну как, просолились чуток?

И он пододвинулся, давая место возле себя Акулову.

НИК. ЖДАНОВ

ДОРОГИ ДРУЗЕЙ

Стремителен обновляющий поток дней! Давно ли еще война выла сиренами на улицах наших городов, вбивала надолбы на перекрестках дорог, рыла рвы, разрушала созданные годами труда.

И вот уже ветер Победы развеял чад и пепел войны. Камни развалин стали материалами новых строек, полевые аэродромы снова засеяны льном или овсом, парки Победы, посаженные на местах боев, шумят свежей листвой.

И Константин Васильевич Чебуренков, старшина первой статьи, моторист с торпедных катеров, давно уже вернулся в колхоз и в настоящий момент возит на своем эссе зерно по долгим трактам родного Алтайского края. Стираная фор-

менка его посерела, и даже темные пятна от погонов сравнялись, выцвели, но попрежнему неукротим огонь его неутомимой души.

Недаром же, получив от него последнее письмо, ворочается по ночам на койке и часто выходит курить знаменитый друг его Курбан Атабаев, боцман с катера «Т-26». Письмо это не видел никто, и никому не показывал Курбан большой, в две ладони, портрет из газеты, вложенный в конверт. Но многие из мичманов догадываются, что происходит в душе Курбана.

Время разлучило старых боевых друзей, и вот уже год, как разошлись их дороги, хотя и тянутся попрежнему друг к другу их сердца.

Отвоевался моторист Чебуренков и, прощаясь с подразделением, горячо убеждал он друга, как только выйдет ему срок, — не откладывая, выправить билет на Алтай до станции Семиверстная, а там встретит он боевого друга, и станут они вместе делить мирную трудовую судьбу. Захотят — и колхоз поедут, там работы — гора; захотят — на стройки поедут, заводы подымать, города восстанавливать.

Минул год, и пришла пора Курбану решить будущую свою судьбу, а тут — это письмо и портрет.

Часто после спуска флага, когда загорается над бухтой щедрое южное небо и звезды обмениваются световыми сигналами с огнями фонарей, Курбан тихо бродит один у мола и думает о своем...

Много на свете открытых дорог, а надо выбирать одну. Но жадная к жизни душа у Курбана Атабаева, и многое манит его к себе и зовет...

Хороши весенние зори в степи, и с детства сладок Курбану запах поднятой плугом земли. Хорошо трепещет на легком речном ветру парус тихой рыбацкой лодки. Заманчивы огни домен и заводских корпусов, и высока участь стать нужным человеком, мастером или бригадиром на стройках возрождающихся городов.

Но сильно полюбилось Курбану море, родным стал ему дивизион. Здесь перенес он тяжелую весть о гибели брата, о героической смерти отца-партизана, здесь закалился и воз-

мужал, здесь узнал он душу машин и торпед. Здесь узнал сладость боевой славы и честной дружбы морской! И трудно Курбану сделать решающий шаг.

Трудно и заманчиво...

В отряде славилась их дружба с Чебуренковым. Терпением и выносливостью, отвагой и выдержкой испытывала эту дружбу война. Нельзя забыть того, как, потеряв в бою товарищей, на поврежденном катере вдвоем добирались на базу. Не забыть того, как пулей врывались в гавань врага и, нарочно приняв на себя огонь, наносили на карту расположение немецких береговых батарей.

По всему Черноморью гремели их имена. До Москвы дошел слух о храбрых друзьях. Их портреты на фоне кормовых пулеметов и глубинных бомб появились в центральной морской газете.

А теперь тихо на катере. В полном порядке боевой механизм, брезентовыми чехлами покрыты стволы пулеметов. У команды катера нет никаких замечаний ни по дисциплине, ни по боевой учебе. Все так, все на месте!

Еще тогда во времена их совместного плавания, в пору походов и боев, Курбан за серьезность характера, знание дела был отличен и выдвинут; званием он был выше своего друга. Мичманским его погонам с широкими, будто у генерала, золотыми полями втайне завидовал Чебуренков. И теперь Курбан может смело сказать и себе, и другу — не запятнал он высокого звания моряка-командира, оправдал доверие и впредь будет оправдывать.

Но смущает душу Курбана вопрос: не начал ли уже обгонять его друг Чебуренков? Не правильнее ли новая его дорога? Вот и портрет его в две ладони из большой газеты. Смотрит с портрета знакомое лицо друга-моториста, а под портретом подпись — бывший отважный фронтовик-черноморец такой-то и такой-то организовал текущий ремонт машин, обеспечил бесперебойную подвозку хлеба к элеватору.

Здорово берет Чебуренков, хорошо берет. Чем же ему, Курбану, зацепить душу друга? Всюду в газетах пишут теперь о бригадирах-стахановцах, мастерах. Пишут, что скоро

вспыхнут вновь огни Днепрогэса, что новые домны и блюминги вступают в строй, что на 800 километров проложили дорогу саратовскому газу к самой столице — Москве. И уже передавали по радио, что знаменитый Самсон из Петергофа скоро будет вновь отлит.

Как же ответит он Чебуренкову, тронет ли его душу простым известием об исправности боевой учебы, о хорошей дисциплине и прочих тихих делах?

Не лучше ли действительно отказаться от старой своей моряцкой военной мечты? Уйти, как Чебуренков, на сушу да двинуться с ним на стройки и в возрождающиеся города?

А сильна привычка к морю, к товарищам, дорог Курбану устоявшийся уклад строгой, суровой и деловой жизни моряка. И где-то в сознании прочно сидит у него мысль, что и тут нужен он стране не меньше, чем Чебуренков в колхозе или бригадир у станка.

Много раз садится Курбан Атабаев за столик в ленинской каюте и, обмакнув в чернильницу перо, начинает писать ответ своему другу. Но снова и снова рвет он начатое письмо и опять идет к угольной стенке и бродит там один, прислушиваясь к рокоту волн.

Приехал на базу инструктор из политотдела, знакомый капитан Глаголев. И его начал преследовать Курбан вопросами:

— Разъясните, товарищ капитан, какая сейчас главная, так сказать, задача? И что важнее — оборону крепить или, например, Днепрогэс восстанавливать?

Инструктор ему терпеливо все объясняет.

Но Курбан все это знает, он обо всем этом думал и видит — он сам должен решить этот вопрос.

Замполит не торопил Атабаева, только молча приглядывался к тому, что делается в озабоченной душе боцмана.

Но вот пришли в базу новенькие катера. Несколько дней стояли они под чехлами у пирса. Серый брезент возбуждал любопытные взгляды моряков. Заглядывался и Курбан на новые корабли. Заметил: покрупнее они прежних, осадка, видимо, побольше. Какую скорость дадут — сразу не скажешь.

Но, вероятно, много можно узнать нового, если испытать их в переходах, в учебном маневренном бою. Кому только доверят эти новые корабли? Мало опытных командиров осталось в отряде. А Курбан в душе пока еще не вполне доверяет молодежи: опыт дается временем, знания — опытом, а где же это у них? Надо еще учить их, учить.

А тут вечером вызывает Курбана к себе замполит. Их беседа длится довольно продолжительное время в маленькой комнате штабного домика, где у крыльца на вахте стоит часовой. О чем? Уж, верно, и о будущем флота страны и о том, что не врозь идут дороги друзей, если бьются их сердца в лад с сердцем страны...

Поздно возвращается к себе в каюту Курбан Атабаев. В эту ночь он не ворочается на койке и не выходит курить. Крепко, как раньше после боев, спит он до самого утра, а утром твердой походкой направляется в ленинскую каюту, решительно пододвигает к себе чернильницу и крупными буквами выводит на листке:

Р а п о р т.

...Надо сказать, что никто в подразделении не удивился такому концу томительных раздумий Атабаева. Но зато как удивился он сам лукавству своего друга, когда явился к замполиту со своим свежим рапортом о зачислении на сверхсрочную.

Замполит, прочитав рапорт, крепко пожал руку Курбану, а потом еле приметно усмехнулся умными своими глазами и говорит:

— Разрешите также передать вам сердечное поздравление от друга вашего Чебуренкова Константина.

И еще раз пожимает руку, предлагает Курбану сесть и достает из стола лист, написанный знакомым размашистым почерком Чебуренкова.

— Да,— говорит,— чтоб ясней вам было, можете почитать.

А на листе написано:

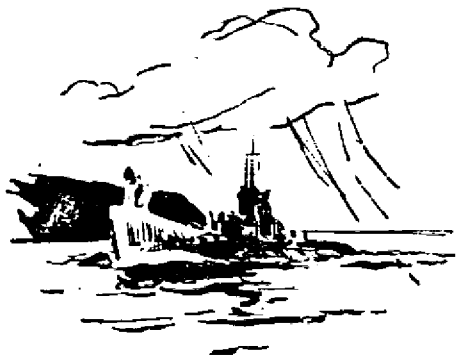
«Дорогой капитан-лейтенант, замполит товарищ Елисеев! В последнем письме своем высказываете вы осторожное сомнение: не мешаю ли я своими письмами другу моему Атабаеву

Курбану выбрать себе дорогу, которая дороже для него всех других?

Позвольте же мне сказать вам начистоту и откровенность моей совести, что безнадежно для меня, да, думаю, и для других, сбить моего друга с его курса. А курс у него один — морской и будет морским на всю жизнь. И вот помяните мое слово: не сегодня, так, значит, в другой день, но придет он к вам с рапортом. И хоть очень хочется мне иметь его другом своим здесь, среди полей, но как будете вы поздравлять его с принятым решением, пожмите покрепче и за меня его верную руку... А пишу я ему про все здешнее, чтобы он, как будущий морской офицер, не очень бы подымал голову и не думал, что он один нужный человек на земле, а к нам чтоб, гражданским людям, некоторое уважение имел. Тем более ведь может опять наступить такой момент, что и я вновь стану на боевую вахту под его же бесстрашным командованием.

Остаюсь бывший старшина 1-й статьи и моторист известной вам боевой единицы

Чебуриков Константин Иванович».



Цена 75 коп.

87